

В. В. Колесов



ИСТОРИЯ
РУССКОГО
ЯЗЫКА
В РАССКАЗАХ

Колесов Владимир Викторович
ИСТОРИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В РАССКАЗАХ

Редактор *А. П. Грачев*
Художник *В. И. Гинюков*
Художественный редактор *Т. Г. Никулина*
Технические редакторы *Н. Н. Махова, И. В. Квасницкая*
Корректоры *Т. В. Савченкова, Л. П. Михеева*

ИБ № 6154

Сдано в набор 03.08.81. Подписано к печати 04.06.82. Бум. типограф. № 3. Гарнит. обшк. нов. Печать высокая. Усл. печ. л. 10,8. Усл. кр. отг. 10,395. Уч.-изд. л. 10,20. Тираж 300 000 экз. Заказ № 4732. Цена 25 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Просвещение» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, 41.

Отпечатано с матриц ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени Первой Образцовой типографии имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, М-54, Валовая, 28, в областной типографии управления издательств, полиграфии и книжной торговли Ивановского облисполкома, 153628, г. Иваново, ул. Типографская, 6.

ББК 81.2Р
К 60

Рецензенты — старший научный сотрудник НИИ русского языка, доктор филологических наук, профессор В. В. Иванов, учитель русского языка и литературы 187-й школы Москвы Ю. Б. Розенман.

Колесов В. В.

К 60 История русского языка в рассказах: Кн. для учащихся ст. классов. — 2-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 1982. — 191 с., ил.

В книге рассказано об истории русского языка: о судьбах отдельных слов и выражений, о развитии системы частей речи, синтаксической структуры предложения, звукового строя.

К $\frac{4306020100-367}{103(03)-82}$ 213-82

ББК 81.2Р
4Р

© Издательство «Просвещение», 1976 г.
© Издательство «Просвещение», 1982 г., с изменениями.

О ЧЕМ ЭТА КНИЖКА

Собираясь в дорогу, прежде всего нужно избрать правильный путь.

Правильный..., правый ... До XV века русские люди, произнося слово *правый*, имели в виду не то, что справа от них, а то, что правильно, справедливо, честно. А для того, что находится справа, у них было слово *десный*, от которого происходит употреблявшееся еще Пушкиным *десница* 'правая рука' (помните — Руслан «в деснице держит меч победный»?).

Почему исчезло слово *десный*? Когда оно исчезло? Где исчезло раньше, в какой области Русской земли? В литературном языке или в устной речи? Почему на смену этому слову пришло слово *правый*?..

На все такие вопросы отвечает специальная научная дисциплина — история русского языка. Историк русского языка подробно объяснит вам все обстоятельства изменения слов, звуков, предложений. Он скажет, например, что в глубокой древности слово *левый* не обозначало направления ('в сторону левой руки'; 'там, где сердце'), но имело целый ряд других значений — 'кривой, ложный, нечестный'. Сказка недаром сохранила указание: «налево пойдешь — смерть найдешь». Левая сторона в сказке — сторона злой силы, левый царь — недобрый царь, левая часть — подземное царство. Слово *левый* сменило в XI веке более раннее слово *шуйй* (отсюда и *шуйца* — 'левая рука'), у которого было одно значение 'левосторонний'. Вытеснив это слово, *левый* сохранило и прежние значения. Оно стало обозначать и 'левый', и 'кривой', и 'ложный'. *Десный* же по-прежнему обозначало только направление — 'правосторонний', так как значения 'прямой', 'справедливый' все еще были связаны со словом *правый*. Возник конфликт между четырьмя словами (*левый* — *правый* — *шуйй* — *десный*) и шестью основными значениями этих слов ('левый' — 'правый', 'кривой' — 'прямой', 'ложный' — 'справедливый'). Возник давно: самое раннее известное нам употребление слова *правый* в значении 'пра-

восторонний' относится еще к 1096 году (в летописи). Однако это значение очень долго передавалось и словом *десный*. Только к середине XV века (сначала в Ростово-Суздальской Руси, а затем и в Новгороде) *правый* окончательно вытесняет слово *десный*, которое постепенно ушло из языка как лишнее. Слово *десный* не сумело впитать в себя всех значений, которые необходимы были ему в новых условиях, чтобы по-прежнему четко противостоять слову *левый*.

Есть одна сложность в нашем предмете. Не все детали изменения языка можно описать одинаково достоверно: одно мы знаем лучше, другое — похуже, а третье нам и вовсе неизвестно. Поэтому книжка и состоит из рассказов, не представляя собою последовательной истории. На нескольких примерах из родного для нас русского языка мы рассмотрим те принципы языкового развития, которые являются всеобщими.

Внутренние закономерности развития языка — это вот и будет тот правильный путь, который мы с вами избираем...

Правильный путь... А может быть, *правильную дорогу*? Не знаю, чувствуете ли вы разницу между этими сочетаниями... Попробуем их немножко видоизменить: *правильный путь* — *правый путь*, *правильная дорога* — *правая дорога*. Или так: *верный путь* — *верная дорога*. Не все сочетания кажутся привычными; одни из них «режут слух», а другие попросту не совпадают с остальными по значению. *Правый путь* — это 'справедливый путь', а *правая дорога* — это 'дорога, поворачивающая направо'. В первом сочетании сохранилось древнее, исконное значение слова *правый*, а во втором — новое, то самое, которое в русском языке окончательно закрепилось только в XV веке. Одно и то же слово в разных сочетаниях выявляет различные свои значения. Впоследствии мы не раз убедимся в этой особенности современного нашего языка, теперь же отметим вот что: слова *дорога* и *путь* — синонимы, но различного происхождения.

Первое из них — народное, разговорное, исконно русское. Оно и форму имеет русскую — с полногласным сочетанием *оро*: *дорога*, как *ворон*, *голова*. В древнерусском языке в книжном, высоком стиле употреблялись и слова с неполногласными сочетаниями: *драга*, *вран*, *глава*. Эти слова пришли из церковнославянского языка и впоследст-

вни частью утратились (*драга, вран*), частью изменили свое значение и остались в литературном русском языке (*глава*). С русским словом *дорога* и соединяется новое значение слова *правый*.

Второе слово, *путь*, пришло из церковнославянского языка, это слово торжественного, высокого стиля. В современном литературном языке сочетание *правый путь* сохраняет древнее значение прилагательного, высокое, торжественное.

Так оказывается, что для историка языка важны не только слова и значения слов, но и то, какого происхождения слово, как давно и какими путями оно вошло в литературный язык, какое стилистическое значение оно имеет сейчас и имело в прошлом. Важно знать не только значение, но и назначение слова, кому и для каких целей оно служило как факт языка.

Кстати, а что такое *язык*?

Вам часто приходится употреблять это слово: *русский язык, английский язык, язык писателя, язык эпохи*... А можете вы использовать это слово в таких, например, сочетаниях: *язык Пети Иванова, язык Фамусова*.., *вареный язык*?

Чувствуется глубокая разница, не правда ли?

В первой группе сочетаний выражено широкое, обобщенное понятие языка. Язык — это принадлежность целых коллективов, как бы мы их ни называли: народ, действующие лица, современность...

В других сочетаниях говорится о частных проявлениях языка. Лучше сказать так: *речь Пети Иванова* — проявление *русского языка*, потому что Петя говорит на русском языке; *речь Фамусова* выдержана в общих особенностях *языка писателя Грибоедова*.

Вареный язык вообще к нашему *языку* никакого отношения не имеет. Этот *язык* и *язык*, о котором мы с вами говорим, — омонимы, т. е. самостоятельные слова, которые только звучат одинаково. И нам нет никакого дела до того, что когда-то они были фактически одним и тем же словом: 'коровий язык' и 'человеческий язык как часть тела'.

Те особенности говорения, которые принадлежат всем говорящим по-русски, всем без исключения, объединяются словом *язык: русский язык*.

Я з ы к — это общая схема всех речений, принадлежащих людям определенной национальности. Это общие для

всех них правила, по которым нужно строить свою речь, чтобы ее поняли другие.

Речь же — частное и во многих отношениях случайное проявление языка. Говоря на русском языке, каждый из нас привносит в него что-то свое, собственное, не всегда нужное и полезное, но привносит. Ведь у каждого из нас своя манера и привычка говорить, свои любимые слова и обороты речи...

Речь воплощается в букве и в звуке, в диалогах и монологах, в стенограммах и конспектах, в магнитофонной ленте. Язык же материально не существует никак! Нет такого сундука или сейфа, где хранился бы отлитый или сотканный эталон русского языка. Ученые собирают его по кусочкам, внимательно изучая все виды речевой деятельности, создают обширные словари, пишут научные грамматики. Можно представить основные особенности и закономерности языка, хотя и косвенным образом, но можно. Потрогать же его, поглядеть на него — этого вы ни в одном музее не сможете. Нет языка...

И однако он все-таки есть! В каждом из вас, и в ваших соседях, и в ваших родителях. Исчезни он — и вы просто перестанете понимать друг друга. Исчезнут книги и газеты, радио и телевидение, заводы и фабрики, институты и учреждения — останется жизнь, потому что наличие языка — самое незаметное (потому что привычное), но самое существенное условие цивилизации. Значит, есть язык?

Ну как же он есть, если его нет! Дайте мне что-то, что я мог бы назвать, например, *русским языком*... Вот какой заколдованный круг: язык вне речи не существует, речи без языка нет. Язык воплощается в речи, и наша задача выяснить, каким образом это влияет на развитие языка.

Этими вопросами не ограничивается историк языка. Он изучает еще развитие языка в связи с историей народа, который на этом языке говорит, он изучает также столкновение родного языка с другими языками, заимствования, влияния, которые отразились на языке, — все то, что называется внешней историей языка. Это самостоятельный предмет, и в данной книжке мы его не будем касаться.

Рассказ первый

О МНОГИХ ПРЕДМЕТАХ, ЯВЛЕНИЯХ И ЛИЦАХ, НАЧИНАЯ С ЛЕНИВЫХ ШКОЛЯРОВ И КОНЧАЯ СОННЫМИ МОНАХАМИ

Представьте себе знойный летний день 1374 года в Пскове. Псы и свиньи забрались в тень, куры томно распластали крылья у высоких тынов. Трава пожухла, все вымерло. Ни души.

У распахнутого кривого окошка стоит за столом грузный человек с гусиным пером в руке. Время от времени смотрит в книгу, которая развернута на подставке, макает перо в глиняный пузырек, пишет на больших шершавых листах. Иногда сосредоточенно кричит, почесывает нос концом пера, долго глядит в прохладный угол пазы. И снова пишет, встряхивая пузырек.

Жара душит и его. Он с завистью следит за соседями, которые тянут какое-то питье прямо из кувшина. Часто чешет спину о косяк двери, морщится, кричит. У кафтана закатаны рукава, верхняя пуговица расстегнута.

Жарко...

И на поля листов рядом с переписываемым текстом ложатся его собственные слова, слова изнуренного жарой и болезнями человека.

...покушати писати новымъ черниломъ...

...о горе свербить...

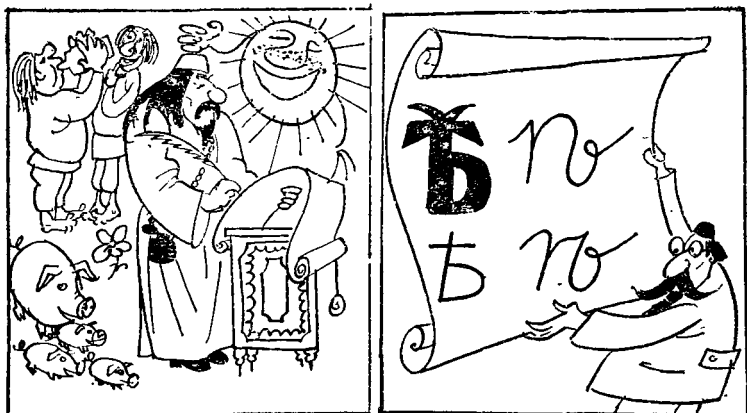
...охъ знойно...

...чрес тынъ пють а нас не зовуть...

...ох свербит...

...полести муться...

...о святой Никола пожалуй избави коросты...



...шести ужинать...

...родила свинья порошата...

Так и дошли до нас эти заметки древнего писца. И на основании их мы можем говорить об особенностях речи псковича второй половины XIV века.

О каких же особенностях?

Во-первых, о произношении слов. В этих заметках отражено русское полногласие (в словах *короста* и *поросята*) и типичная особенность псковских говоров — смешение согласных *с* и *ш*; сравните: *шести* вместо *сести* и *порошата* вместо *поросята*. Если же сравнить с другими, более грамотными текстами того же времени, можно увидеть, что слово *сести* писалось иначе, с буквой «ять»: *стысти*. Значит, псковичи в XIV веке вместо древнего *ие* произносили, как и мы теперь, звук *е*. А оглушение звонких согласных? *Полести* вместо *полезти*, *чрес* вместо *чрез*.

Во-вторых, о морфологических особенностях. Неопределенная форма еще оканчивается по-старинному на *-ти*: *покушати*, *писати*, *полести*, *шести*, т. е. *покушать*, *писать*, *полезть*, *сесть*. И повелительная форма так же: *избави* равно нашему *избавь*.

А третье лицо единственного числа употребляется с древним мягким окончанием *-ть*: *свербить*, *пють*, *зовуть*. Мы теперь говорим иначе: *свербит*, *пьют*, *зовут*. И даже поддразниваем рязанцев, которые нет-нет да и произнесут как бы по-древнерусски с *-ть*: «У нас в Рязани пироги с глазами: их ядят, а они глядят!» Когда-то только так по всей Руси и говорили. И наш писец — тоже.

Но вот же у него и твердое окончание: *мытъся, ужинатъ!*

Напрасно торопитесь. Посмотрите внимательно, разве это формы третьего лица? Конечно же, нет. Мы и переводим их не формой настоящего времени, а неопределенной формой, вот так: *полести мытъся — пойти помытъся, шести ужинатъ — сесть ужинать.*

Это очень старые формы особого глагольного склонения — достигательного. Глаголы в достигательном склонении обозначают конечную цель действия: (*пойти*) *чтобы помытъся* — это и есть *мытъся*, (*сесть*) *чтобы ужинать* — это и есть *ужинатъ*. Вот какой архаический язык звучал еще в эпоху Куликовской битвы!

А чего стоит старая форма прошедшего времени (так называемый аорист) *родиша!* В переводе ее можно передать так: *родила*. Но этот перевод не очень точен, потому что не передает важного оттенка мысли писца. И он ведь мог сказать: *родила свинья поросята*, в его время это было вполне возможное сочетание слов. Но он написал просто: *родиша*. И правильно сделал.

Для него эта запись просто радостная заметка о самом факте, может быть единственно приятном за весь день. Ему не важно было сообщать, что у его свиньи появились поросята и сейчас они кормятся, а он, хозяин, видит их из окна, любитесь ими. Только тогда он имел бы право написать: *родила есть свинья порошата* (и эти поросята еще живут, и все они здесь, рядом с ним).

Писец употребил не форму перфекта *родила есть*, а аорист *родиша*, чтобы передать сам факт рождения, не связывая его ни с длительностью действия, ни с отношением этого действия к моменту высказывания. Вспомните английские Past Indefinite и Past Perfect Continuous (аналогичные времена имеются во французском и немецком языках) — отношения между ними очень напоминают отношения между аористом и перфектом древнерусского языка. Аорист со временем исчез, а видоизмененная форма перфекта стала единственной формой прошедшего времени в русском языке. В XIV веке аорист и перфект, как видим, еще различались. Только так писец и мог записать для справки: *родиша* — и все!

И если уж речь зашла о поросятах, обратите внимание, что слово *поросята* стоит в форме именительного падежа. Мы переводим: *родила свинья поросят* — вовсе не имени-

тельным. У писца же именной. И опять он прав. Для своего времени, конечно. Тогда очень редко в прямом дополнении употреблялась форма родительного-винительного падежа. Да и то только для обозначения людей, а для названий животных — никогда, тем более их детенышей. Вот и получилось: *родила свинья порошата...*

Кстати, *свинья*, а не *свинья*. Опять загадка.

И опять никакой загадки! Старое ударение этого слова *свинья*, такое ударение сохранили некоторые рукописи. А под ударением гласные не исчезали.

В-третьих, заметки нашего писца говорят и о лексических особенностях речи XV века. Уже первое слово — *покушати* — кажется странным. При чем здесь еда? Кто ест чернила? А никто и не ест. Сравните с этим словом сохранившееся до наших дней слово *искушать*. Да и само *покушати* сохранилось, только теперь оно употребляется всегда с суффиксом *-ся*: *покушаться*. 'Попробовать писать' — вот что значит первое предложение.

В слове *пожалуй* такое же изменение. Само слово до сих пор широко употребляется в нашей речи, особенно людьми вежливыми, но в другой форме: *пожалуйста*. А ты? Кто-нибудь помнит, что это высокий забор из заостренных кверху бревен, которые стоят тесно друг к другу?

И синтаксические особенности есть в этих записях, хотя тексты и очень кратки. Сравните *избави коросты* с современным нам *избавь от коросты*. Совсем другой принцип связи слов в сочетании. Значит, меняются не только сами слова, их звучание или значение, но и типы их связей:

А теперь мы можем перевести эти записи на современный язык:

...попробовать написать новыми чернилами...

(ну, беда) ... *о, горе! Свербит...*

(потому что) ... *ох, знойно...*

(и вот) ... *через забор пьют, а нас не зовут...*

(опять) ... *ох, свербит...*

(поэтому) ... *не пойти ли помыться?*

(мольба) ... *о, святой Никола, пожалуйста, избавь от коросты...*

(наконец) ... *сесть да поужинать...*

(ликование) ... *родила свинья поросят!..*

Сколько материала дали нам для наблюдений эти девять кратких строк на полях старой рукописи! А ведь

таких записей — тысячи! И многие-многие сотни рукописей. Разных. Больших и маленьких, торжественных и простых, бумажных и пергаментных, написанных на коже в разное время и в разных местах Руси. И каждая может дать материал историку языка — каждая в отдельности или в сопоставлении с другими.

Вот пример.

Очень многие писцы в своих приписках просят читателя не сердиться на них за возможные описки и ошибки. *Не кленѣте*, пишут они. Но только в древних рукописях. А уже с начала XIV века вместо этой древней формы употребляется и новая, знакомая нам форма повелительного наклонения: *не клените*. Сопоставляя все эти записи с одним и тем же словом в одном и том же значении и в одной и той же форме, мы устанавливаем, что на протяжении XIV века старые формы повелительного наклонения с ятем сменились новыми, с *и*.

Тяжко было переписывать рукописи. Не каждому доверяли это дело. Один псковский текст 1271 года переписывал поп Захарья вместе с сыном своим Олуферьем. Переписывал и все время извищался за ошибки сына, которого называл детиной, т. е. ребенком. А ошибок очень много — к счастью для нас. Этот нерадивый школяр сохранил для нас массу особенностей древнепсковского говора и вообще русского языка той поры. И притом исхитрился сделать это в церковном тексте!

Много интересного можно узнать из приписок о жизни и судьбе старых «писателей». Как они радуются концу каждой книги! «Как радуется жених невесте — так радуется писец, видя последний лист», «Рад заяц, избежавший силка, — так и писец, кончивший последнюю строку!»

Тяжело писать и скучно.

И вот один записывает: «Ох-ох-ох, дремлет ми ся» (а ну-ка, переведите!). Другой как бы вторит ему: «О господи! Посмеши — дремота непременно...» А третий сам себя



убеждает: «Офреме, грешниче, не лѣнися!». И еще один: «Господи, помози рабу твоему Микуле скоро писать!» А этот совсем заболел: «Ох мнѣ лихого сего попирия голова мя болит и рука ся тепеть!» (Это я вам переведу: «Ох, у меня от этой мерзкой бумаги голова болит и рука немеет» — вот сколько незнакомых слов в таком кратком тексте!) И еще: «Ох, уже глаза спать хотять». Между прочим, в последней приписке, дошедшей до нас от XIV века, самое древнее употребление слова *глаз*. До этого говорили только *око, очи*.

И тут же заметки о еде. Негусто кормились: «Како ли не объестися: поставять кисель с молоком». У другого: «Сѣсти (видите: *сѣсти*, а не *сѣсть*) ужинать (видите: *ужинать*, а не *ужинать*) клюкования съ салом с рыбьим». Наверное, очень вкусно: клюква в рыбьем жиру! А у третьего и того нет: «Въ голодное лѣто написахъ...»

А вот еще запись в рукописи XII века: «Ох душе увы ужико о горе суиружнице моя!» Для нас это интересное употребление звательных форм¹ и некоторых редких слов (например, *ужик* 'родственник не по крови'), а если вдуматься... Это торопливая запись убитого горем человека, который только что потерял любимую жену.

Человеческие документы прошлых веков становятся источником основных сведений о древнем языке. В разной степени они отражают характер писавших их людей, их дела и заботы, их тревоги и надежды. Но все они передают их речь. Речь монастырских и мирских священников, городских ремесленников, воинов и деревенских людей. Многие на Руси «грамоте умели крепко вельми». Только царь не брал пера в руки².

Не одно нашествие прошло на Руси, не одно пожарище, не один грабеж. Многие сгорело и многое уничтожено безвозвратно. Только в лихие годы Батыева разбоя русичи потеряли больше рукописных книг (и каких древних!), чем их сохранилось до нас от всех прошедших с XI века столетий. А те, что остались, сейчас тщательно изучаются

¹ Т. е. форм обращения; ср. у Пушкина: «Чего тебе надобно, старче?» *Старче* — звательная форма от *старец*.

² Действительно, грамотность была настолько обычным делом, что цари считали недостойным своего сана писать. Они предпочитали диктовать писцам свои повеления и послания. По свидетельству историков, из всех русских царей до Петра только Борис Годунов подписывал официальные документы, но и то лишь до тех пор, пока не получил шапку Мономаха.

учеными, бережно сохраняются в архивах и библиотеках. Это наше национальное достояние, важное свидетельство творческой деятельности наших предков.

Но не только в древних памятниках историк языка находит для себя интересный материал. В некоторых отдаленных местах еще звучат старые местные говоры, которые очень отличаются от литературного языка. В этих говорах сохраняется много особенностей русского языка, характерных для него в прошлом.

В одном месте сохранились старые формы местоимений, в другом — имен существительных, в третьем — глаголов. Сравнивая такие остатки друг с другом и с памятниками древней письменности, можно проследить развитие тех или иных слов в русском языке, понять причину их изменения.

Сегодня все слушают радио, смотрят кинофильмы и телепередачи. С приездом человеком никто не станет говорить «по-старинному»: а вдруг засмеет! В начале же нашего века, до революции, старых говоров было больше, они хорошо сохраняли старые особенности русской речи. Даже писатели использовали некоторые из таких особенностей. Их много у Есенина, у Тургенева, у Пришвина...

Бунин об одном из своих героев писал: «...говор старинный, косолапый, крупный. Он говорит: *що, каго, яго, маяго, табе, сабе, таперь*, но все как-то так, что слушать его — большое удовольствие...» Прислушаемся к этому говору, и вот что заметим. *Табе, сабе, таперь* — это фонетическая запись старых русских форм, которые записать следовало бы иначе: *тобъ, собъ, топерь*. Да, это русские формы, и они сохранились только в диалектной речи. А в литературном нашем языке вместо них мы пользуемся взятыми из церковнославянского языка *тебе, себе, теперь*.

Что же еще есть в речи этого тамбовского мужика, описанного Буниным?

Еще у него есть произношение *уё* вместо *всё*, *усякими* вместо *всякими*. Очень интересная особенность, указывающая на то, что звук *в* в русском языке когда-то произносился как краткий, неслоговой гласный *у*. Он и теперь не стал окончательно согласным в тех говорах, где нет звука *ф*, где вместо *ф* произносят *х*. Ага, вот оно: «хунтик колбаски». Так говорит бунинский герой. Значит, все верно, очень старая особенность русской речи. В литературном произношении ее нет уже лет шестьсот.

А вот о собаках сказано: *оне*. Не *они* — а *оне*. Тоже очень верно. Имя существительное *собака* — женского рода, значит, и местоимение во множественном числе должно быть не *они*, а *оне* (писалось с ятем: *онѣ*). В древнерусском языке местоимения различались по роду не только в единственном, но и во множественном числе. Сравните в одном из романов Н. С. Лескова (высказывание, употребленное по отношению к уважаемому лицу):

«— Точно так-с, сами Лизавета Егоровна.

— С кем?

— Одне-с.

— Одна?

— Одне-с...»

А у бунинского персонажа еще и окончаний нет в третьем лице: «Перед дождем сильней пахня», «А он как вско-ча» и так далее. Вот уж древность-то какая!

В прошлые времена много путешествовали, особенно купцы, монахи и солдаты. В чужеземных странах тогдашние ученые записывали их речь, пытались понять, перевести на свой язык. Многое и здесь пропало, не дошло до нас, но кое-что и осталось.

Осталось, например, сочинение византийского императора Константина по прозвищу Багрянородный, который жил в середине X века. С чужих слов он записал названия русских городов, рек, знаменитых днепровских порогов, имена князей, названия племен. И теперь, тысячу лет спустя, мы можем на основании этих русских слов, записанных греческими буквами, судить о многих особенностях древней русской речи. Ведь сами русы еще не писали в то время больших книг.

Это все и есть источники в изучении истории языка.

И не только это. Наш собственный, современный язык, тот самый, которым мы говорим сейчас, может стать таким источником.

В самом деле, если внимательно прислушаться к тому, как мы говорим, легко обнаружатся непоследовательности и отклонения от правил. Сравните почти одинаковые слова — *мёл* и *мел*, *мёд* и *мет* (т. е. *мета* в родительном падеже). Если в первых словах каждой пары убрать точки над буквой *е* — вообще ничего не поймешь; чем, например, *мел* отличается от *мел*. А ведь там, где пишется *ё*, раньше было «простое» *е*, сама буква *ё* попала в русский алфавит

только в 1797 году. До сих пор мы пишем в тех же корнях *е*, а не *ё*: *метла, мету́, меды́, медовый*.

Почему же в одном случае после мягких согласных произносится звук *е*, а в других — звук *о* (на месте буквы *ё*)? Оказывается, на месте современного *ё* в этих словах было когда-то *е*, а на месте современного *е* — *ь*, т. е. древнее отношение *мьль* — *мель* теперь мы передаем как *мел* — *мёл* (а в произношении [м'ел] — [м'ол]). Несмотря на все изменения, которые происходили в речи на протяжении последних семисот лет, мы по-прежнему различаем эти слова и многие другие, на них похожие. Правда, различаем совсем другими знаками, но все-таки различаем! Слов и форм, отличающихся друг от друга только *е* и *ё*, настолько много, что окончательное совпадение *ь* и *е* в речи грозило бы невосполнимой утратой для языка. Представьте себе язык, где очень многие важные слова звучат одинаково! Как трудно было бы понимать друг друга, не правда ли? И русский язык по-хозяйски отнесся к колебаниям в речи: он запретил слияние нового *е* (возникшего из *ь*) и *ё*.

Почему происходили все эти изменения, просто так не скажешь, это очень сложный вопрос. И очень важный, потому что связан со многими другими изменениями языка, не менее сложными, важными и интересными.

Важными, потому что изменение языка связано с развитием мышления, с преобразованием всех сторон культурной и общественной жизни народа, говорящего на этом языке. А это очень поучительно — знать, как жили предки.

Сложными, потому что в развитии языка нет ничего случайного или второстепенного, и все так тесно друг с другом связано, что изменение в одном месте сразу же захватывает все соседние участки языка — его системы. Чтобы понять одно изменение, нужно всесторонне и четко представить себе все связанные с ним преобразования. А это не всегда удается.

Интересными, потому что очень любопытно было бы понять логику и смысл языковых изменений, их зависимость от самых разных причин, мельчайшие оттенки значений и звучаний родной речи в прошлом и тонкие связи ее со всеми обстоятельствами человеческой жизни.

Чтобы потом, быть может, определить дальнейшее развитие языка и как можно плодотворнее использовать язык в нашей сегодняшней жизни.

Рассказ второй

О ДИВЕ ДИВНОМ, О ЖИВОТАХ И НЕМНОЖКО О ЖИЗНИ

Во время диалектологической экспедиции у самого Белого моря студент записал фразу, сказанную одной старушкой:

— Летось погода дивная живет: дождь летит, бог стрелы пушает и гром...

Как будто из сказки, правда? Как будто все по-русски сказано, а вот студент задумался. И не удивительно: здесь по крайней мере пять лингвистических загадок. Для человека внимательного, конечно.

Вот я написал: «удивительно», посмотрел строчкой выше, а там уже есть слово *дивная* — того же корня и того же самого языка. А ведь не то же самое слово!

Что такое *удивительное*? 'Вызывающее удивление'... Или 'необычайно хорошее, неправдоподобно хорошее'...

А что такое *дивное*? У этого слова теперь два значения: 'удивительное' (старое значение) и 'прекрасное' (разговорное, довольно новое значение, например *дивный голос*). Одно значение слова уста-



рело, а другое чересчур вычурное, не всякий решится его использовать.

Между тем «перевести» слова старушки, скажем, так: «Летось погода удивительная живет...» — совершенно неверно. Что ж тут удивительного: дождь, молния, гром? Обычная летняя гроза. Чтобы правильно понять это высказывание, нужно осмотрительно отнестись сразу ко всем словам в предложении.

Студент поступил правильно. Он стал задавать вопросы, пытаюсь понять значение нужного нам слова, и установил, например, что в речи его собеседницы невозможно «дивная девушка», а «дивная жизнь» вызывает только смех. Следовательно, значение «прекрасный» для этого слова в этом говоре неизвестно. Что бы еще? Ах, да, а «дивные очи» могут быть? Как же, дивные очи живут (опять *живут!*) — на иконе... Стоп!

Можно перевести дух и поразмыслить.

Только в двух сочетаниях возможно в говоре прилагательное *дивный* — и оба раза в какой-то связи с богом, то со сказочным, который поливает из небесной бочки бабкин огород, то с нарисованным давным-давно на старой почерневшей доске.

Девичьи очи, по представлениям нашей старушки, *дивными* не бывают. Нет в них ничего божественного.

И поскольку ничего больше мы от нее не узнаем, снимем с полки этимологический словарь, постараемся вникнуть в сказанное с исторической точки зрения. Наше наблюдение подтверждается: корень *див-* встречается во многих языках, родственных русскому: в литовском *dievas* и в латышском *dievs* одинаково значат ‘бог’, в древнеиндийском *dēvas* и в латинском *deus* имеют то же самое значение, а в авестийском *daeva* — скрывается значение более собирательное — ‘демон’, древнегреческое слово *dios* обозначает ‘божественный’. Даже в русском диалектном наречии *дивья бы!* находим остатки все того же значения: ‘дай бог!’ (а может быть, и леший, и домовый — словом, какая-то сверхъестественная сила). Из этого сопоставления слов с одним и тем же древним корнем в разных родственных языках следует, что давным-давно корень *див-* связывался с обозначением божества, которому поклонялись наши далекие предки. А потом, много позже, с этим корнем стало связываться значение чуда, чего-то удивительного, странного, непонятного, вызва-

ного действием сверхъестественных сил. Эти-то последние значения и характерны для древнерусского языка, они же сохранились и в некоторых архаических русских диалектах. В «Слове о полку Игореве» встречается и *диво* — ‘удивительно’, и *Дивь* — страшный бог леса славян-язычников.

Вот, оказывается, почему не могут быть *дивными* девичьи глаза. Это только поэт в своем увлечении мог называть их дивными, т. е. божественными. Такое смещение в значении слова наглядно выражает отношение поэта к той, о ком он пишет. И когда-то такое смещение значения, впервые использованное, было смелым и даже кощунственным, и нашлись люди, которые осудили поэта. А теперь оно нас уже не удивляет: сами-то мы пошли еще дальше!

Понятно наречие *летось*. Оно значит ‘тем летом’ и по своему образованию равно другим диалектным наречиям: *зимусь* (‘этой зимой’), *веснусь* (‘этой весной’), *утресь* (‘этим утром’), *ночесь* (‘этой ночью’). К определенному имени существительному присоединяется указательное местоимение *сей* в старой краткой форме — вот и получается дополнительное указание: ни в какую другую ночь, а именно в эту, которая только что прошла или еще длится (*ночесь*).

Посмотрите-ка, что здесь напечатано: «Ночь прошла».

А ведь на месте нашей старушки мы с вами и о дожде сказали бы *идет*, а не *летит*.

Почему дождь не идет, а летит — ясно. Спросите на



севере: «Идет дождь?» — и вам ехидно заметят: «А с чего дождю идти, разве у него ноги есть? Дождь летит». То же, разумеется, относится и к ночи: не может она пройти. Следовательно, в этом говоре следует ожидать сочетания слова *ночь* с каким-то другим глаголом.

Наше литературное выражение *Дождь идет* по своему происхождению является довольно поздним.

Возникло оно благодаря расширению значения у глагола — теперь у нас не только дождь и снег, — *идет* поезд, *идет* руда, *идет* план, *идет* соревнование, *идет* мысль, *идет* кинофильм, *идет* и многое другое, никогда не имевшее ног. Именно с ногами древние славяне связывали процесс ходьбы, и это исконное значение слова сохранилось в ряде говоров, в том числе и у нашей старушки.

Что, по-видимому, никак вас не удивляет — это употребление здесь слова *погода*. Между тем и тут кроется загадка для тех, кто с этим словом связывает значение 'хорошая погода'. Во многих местах России *погода* всегда употребляется только для обозначения хорошей погоды (в других же говорах для этого есть специальное слово — *вёдро*). Если же дождь или гроза — это *непогода*.

Для нас, жителей городов, за словом *погода* скрывается и плохая, и хорошая погода. А рот для старого жителя северной деревни *Бюро погоды* — странное сочетание слов. В его представлении *Бюро погоды* только и делает, что занимается разведением дождевых туч и гроз, потому что для северного жителя *погода* — это всегда плохая погода. Бабка знала, что говорила: дождь, молния, гром — это ли не погода?

Обнаруживается интересная закономерность. Оказывается, очень многие слова расширяют свои значения. К древнему, исконному значению прибавляются все новые и новые оттенки. В новом значении слово на первых порах обычно используется людьми с поэтическим воображением как дополнительный, но выразительный мазок на той словесной картине, которую они рисуют. Это, собственно, и есть то, что называют образом. И только настоящий художник может пронизательно углядеть новый оттенок в знакомом каждому слове.

Потом старое слово вступает во все новые и новые сочетания с другими словами, обогащаясь неожиданными оттенками значения. Некоторые из них забываются, другие же укрепляются в речи, входят во всеобщее употребление. Так возникает многозначность слова, например, глагола *идти*. С течением времени из этой многозначности может вырасти совсем новое, другое слово. Об этом мы еще поговорим подробнее.

Сравнивая литературный язык с диалектным, легко заметить, что особенно для литературного языка характерна многозначность слова, увеличение числа различных оттен-

ков значения, иногда просто изменение в значении слова. Это одно из самых важных богатств литературного языка.

Однако не забудем нашего студента: ему осталось неясным и значение слова *живёт*.

Если дождь не может ходить из-за отсутствия ног, каким же образом *живёт* погода — нечто неодушевленное даже с точки зрения старушки? Тут какая-то неувязка (если судить по нашим меркам) или загадка (если хорошо вдуматься).

В записанном высказывании этот глагол равен по значению литературному *стоит*: *Погода стоит хорошая*.

Не только в диалектной речи возможно подобное употребление слова *жить*. Писатели-северяне вкладывают его в речь своих героев или нет-нет да и сами проговариваются. У Бориса Шергина в его «Двинской земле» находим: «Я спрошу:

— Спите, крещеные?

— Не спим, живём! Дале говори».

Из содержания ясно, что собеседники рассказчика вовсе не стоят. В этом случае невозможно «перевести» предложение так: «Не спим — стоим!» В том-то и дело, что они лежат, однако не спят, а пока еще бодрствуют. Может быть, диалектное значение слова *жить* и есть «бодрствовать»? Вряд ли это верно: подозрителен уже тот факт, что в двух разных текстах мы вынуждены одно и то же слово переводить разными словами литературного языка. В таких случаях обычно следует предполагать такое значение, которое является общим для двух конкретных, использованных нами здесь. *Живет* — это и «стоит», и «бодрствует», и сверх того еще что-то. Что?

В том же произведении сам рассказчик проговаривается: «В городе, за островами, туманов не живет». Сама конструкция фразы, родительный падеж имени существительного на месте именительного, подсказывает перевод: «туманов *не бывает*». Это глагол, более широкий по значению.

Сравните еще народную примету в рассказе И. А. Бунина «Антоновские яблоки»: «Осень и зима хороши живут, коли на Лаврентия вода тиха и дождик». Конечно же, и здесь *живут* — это «бывают». Кроме того, последний пример указывает на употребление слова в том же значении не только в северных, но и в южных русских говорах. Не только на севере, но и на юге сохраняется старое значение

слова, уже неизвестное литературному языку. А такое совпадение очень важно, оно дополнительно указывает на древность и на народный характер именно такого значения слова. В пословицах и в поговорках, сложенных довольно давно и распространенных на севере и на юге, можно обнаружить употребление слова в том же самом значении.

Иногда глагол *жить* выступает просто-напросто в значении вспомогательного, он становится равным словам типа *есть, суть*. Например, в пословице «Не грози попу церковь: он от нее сыт живет». Первоначальное «содержание» этой пословицы такое: «Не грози попу проклятием церкви — он ведь от церкви и сыт есть (сытым бывает)». Теперь мы понимаем это предложение немного иначе: «...он от нее живет сытно».

По той же самой причине, т. е. в связи с изменением значения слова в литературном языке, мы иногда неправильно понимаем даже современных нам писателей. У Алексея Чапыгина: «Казалось, что в этих сверкающих трещинах живут привет и радость...» — глагол *живут* употреблен не в литературном значении. Это нам кажется, что писатель употребил метафору: привет и радость — *живут*, как если бы они были одушевленными существами. А Чапыгин употребил знакомое ему по родному северному диалекту слово в его первоначальном, исходном значении «имеются, бывают». Впечатление метафоры — это наше собственное добавление к авторскому тексту; хорошее или плохое, но наше.

Повторяя сказочный зачин «жили-были», мы совершаем ту же самую ошибку. Дело не в том, что герои сказки жили-поживали. Они, если можно так выразиться, были-существовали, и притом очень давно (на это указывает перфект — о значении этой глагольной формы говорилось в первом рассказе), во всяком случае тогда, когда *жили* еще не значило узко «находились в процессе жизни».

Возьмем другой отрывок из произведения А. Чапыгина, из его исторического романа «Гулящие люди» (так в XVII веке на Руси называли бродяг и разбойников). Один из героев говорит: «Ты же знай, што нелюбье к тебе великого государя *живет* на том: да не пинешься ты от сей дни великим государем!» С этим отрывком мы возвращаемся к высказыванию нашей архангельской старушки: она ведь тоже употребила этот глагол в том же значении

‘стоит, пребывает’. Но это только частный оттенок широкого по значению слова, оттенок, который возникает при всякой попытке наиболее точно перевести его на современный нам язык, не растеряв по дороге полутонов и вместе с тем сохранив основное содержание высказывания.

Сравним историю глаголов *жить* и *идти*. Оказывается, что значения этих слов изменяются прямо противоположным образом. У *идти* наблюдается постоянное расширение значения, увеличение числа значений, потенциальная возможность соединения с самыми различными словами. А глагол *жить* постепенно ограничивается в употреблении, его значение становится более узким.

Попробуйте сами определить значение слова *жить* в следующей цитате из романа Н. С. Лескова: «Туганов осмотрел монумент и сказал: «Живет», — а дьякон был просто восхищен». Заметьте: один герой романа был просто восхищен, а другой свой восторг выразил словесно, но ограничился одним словом *живет!*

Все те слова, о которых мы говорим, их изменения, многообразные сочетания и столкновения с другими словами — все это наша речь, наши попытки выразить какую-то мысль, важную в данный момент. И пользуемся мы для этого средствами языка. Каждое слово имеет определенное и всеобщее, закрепленное в языке значение, которое в данный период является обязательным для всех. Но в речи слово соединяется с соседними словами, его значение от высказывания к высказыванию меняется, оттачивается, расширяется или, наоборот, сходит на нет.

Одновременно с основным словом изменяются и значения производных от него слов.

Читаем челобитную грамоту XVII века, которую подавленные нуждой холопы послали своему помещику. И вдруг наталкиваемся на такое сочетание слов: «А животышки наши, государь, прохудились вконец». С самого начала ясно, что эти *животышки* никак не связаны с *животиками* в сказке Корнея Чуковского: «У них, у бегемотиков, животыки болят». Болят, а не прохудились.

Мы прекрасно знаем, что прохудиться могут сапоги или ведра. Но живот? Разве можно себе представить дырявый, подобно сапогу, живот?

Можно было бы предположить, что изменилось значение слова *прохудиться*. Тогда, в XVII веке, оно могло

означать 'сделаться худым, отощать'. Тощий живот пред- ставить проще, чем дырявый. Но нет — речь идет именно о том, что животы не отощали, а «сами себя сделали нику- дышными».

Очевидно, изменилось значение у слова *живот*. Дейст- вительно, его теперешнее значение ('часть тела, в которой расположены органы пищеварения') не является исконным. Еще в рукописях XVII века это значение выражали дру- гие слова, в том числе и заимствованные. Например, *стомах* из латинского *stomachus* 'желудок', или *брюхо*, а также *чрево*. В XVI веке *брюхом* называли собственно желудок («набил брюхо мякиной»), а *чревом* или даже *пу- зом* — соответствующую наружную часть тела («пал чре- вом на землю»). Исконное значение слова *живот*, по-види- мому, было близко к значению глагола *жить*: 'жизнен- ное или имущественное состояние'. Вот как в одном тек- сте XIV века противопоставляются два слова: «Посреди Эдема древо процвело смерть. Посреди же всей земли древо процвело животь». *Живот* — это 'жизнь'.

Уже начиная с XIV века в текстах обнаруживается колебание в значении этого слова, оно становится много- значным. Только наличие окружающих слов дает возмож- ность точно определить, о чем идет речь. А ведь точно определить значение слова в некоторых случаях оказы- валось очень важным, например в грамотах-завещаниях. Прочтите два отрывка из псковских грамот XV века. Вот что в них сказано:

«Сим я, раба божия Ульяна, ходя при своем животу (1), учинила перепись животу (2) своему да и селу своему... деверю своему Ивану до его живота (3) кормити ему...»

«А село свое... даю жене своей Федосьи до живота (3) и до замужества. А если моя жена вторично выйдет замуж или умрет, то брату... а если и брат умрет, то после его живота (1) ...приказываю присматривати живота (2) своего жене своей...»

В одном и том же тексте, по традиции очень кратком, мы встречаем три (или даже четыре) значения одного и того же слова. На те места, где стоит цифра 1, вместо нашего слова поставьте слово *жизнь*, на место «живота 2» — слово *имущество*, на место «живота 3» — *смерть*. И текст станет яснее: «... при своей жизни я переписала все свое имущество и пашни и даю их на кормление дече-

рю моему до его смерти». Одно и то же слово обозначает и 'жизнь', и 'смерть'!

Прежде слово *живот* вообще означало только физические проявления жизни, для передачи других ее сторон имелись иные слова: духовная — *жизнь*, материальная — *житье*. До сих пор в прилагательных, образованных от трех этих слов, сохранилась первоначальная дробность значений, ср. *жизненная идея*, *житейское дело* и *животная злоба* — трудно переставить местами эти слова! А когда-то их было еще больше, от того же корня жи-образовывались еще: жизненный нерв у живого существа — *жила* (*жилы надорвал*), основной, жизненно важный продукт питания — *жито* (и в разных местах *житом* называли разные злаки: либо пшеницу, либо ячмень, либо просо), основное место обитания — *жить*... Последнее сохранилось в церковнославянском *пажить* 'пастбище', попавшем в наш литературный язык, и в современных северных говорах, где *жить* обозначает жилое помещение в доме.

Похоже, что каждое жизненно необходимое явление обозначалось специальным словом, а все вместе они были связаны одним общим корнем. С течением времени все такие слова изменяли свое значение, каждый раз входя в сложные взаимоотношения с прочими словами языка, то возникавшими, то исчезающими. Но общее, исходное и главное свое значение наши слова сохранили. В частности (что теперь для наших рассуждений важно), материальная сфера жизни долго была связана со словом *живот*. Одновременно с изменениями слов изменялись условия жизни, быт людей, социальные отношения, и это также находило свое отражение в изменениях слов. Одно слово по значению как бы «раздваивалось», «растраивалось» — становилось многозначным.

В некоторых текстах вообще трудно определить значение слова, вот например: «...а после его живота отдать село такому-то». После жизни? после смерти? В этом случае оба значения слова как бы совпадают в одном, а именно: 'после жизни, в результате смерти'.

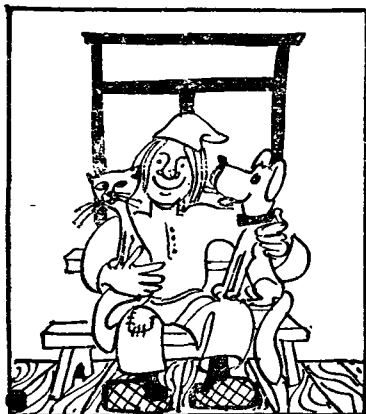
Особенно интересно здесь 2-е значение слова *живот*. В первой грамоте речь идет об имуществе в целом (кроме пашни). Из содержания второй грамоты можно понять, что здесь говорится о так называемом движимом имуществе, т. е. прежде всего, по тогдашним условиям, о скоте.

Особенно в XVII веке стало употребительным слово *живот* в значении 'домашнее животное'. Противопоставление дикого *зверя* (дикое животное) и *живота, животного* (домашнего *живот-ного*) с частым выделением из его состава 'скота', 'скотины' (рабочая скотина, т. е. домашние животные для работы) в это время обычно.

Вот какая интересная цепь в изменявшихся значениях слова: 'существование' — 'имущество' — 'скот' — 'жизнь' — 'смерть' — 'желудок'. Какой последовательностью связаны эти значения? В самом начале стоит значение 'существование', которое теперь нам кажется несколько неопределенным, слишком общим. Судить о древности такого значения можно хотя бы по близости значений этого существительного и глагола *жить*. А сам глагол уж очень близок по значению другому глаголу — *быть*. По-видимому, значения глаголов *быть* и *жить* не совпадали полностью, особенно в грамматическом отношении. *Быть* обладал большей неопределенностью и потому чаще употреблялся в значении связки, употребляется и до настоящего времени. В знаменитом сказочном зачине, о котором уже шла речь, — «жили-были» — связкой является форма глагола *быть*, а форма *жили* несет основное содержание глагольной формы прошедшего времени. Но это содержание совсем не соответствует тому, с каким мы сейчас его связываем. Выражение «Жили-были дед да баба» на наш язык следует перевести примерно так: «Очень-очень давно, сейчас и не определить когда, имелись старик и старуха». «Жили-были» — это введение слушателя в суть дела, равнозначное, например, постановке математической задачи: «дано». А дальше начинается действие. В сказке никогда не дается точное указание места и времени действия, поэтому такая неопределенная формула очень хорошо подходит к ней.

Кроме того, сопоставления с родственными языками показывают, что для всех них значение 'жизнь' или 'средства к жизни' у этого слова является самым старым и, по всей видимости, общим. Очевидно, его мы и должны поместить на второе место в нашей цепи изменяющихся значений.

Нам известно также конечное звено этой цепи: наше слово *живот* 'часть тела'. Известны нам и слова, образованные от слова *живот* и сохраняющие совершенно определенное значение; например: *животное* или (грубова-



тое) *животина* применительно к домашнему скоту. Эти слова возникли уже в тот период, когда само слово *живот* еще сохраняло связь с понятием 'существование', но распространялось уже только на домашних животных, с которыми (как со средством существования) в давние времена очень тесно была связана и человеческая жизнь.

Еще в XVII веке как-то пытались различать раз-

ные *животы*. У знаменитого писателя XVII века протопопа Аввакума такое различие произведено посредством ударений: *живот* в смысле 'жизнь' имеет всегда ударение на окончании (*живѳт, живѳтá, живѳтѳ...*), а *живот* в смысле 'желудок' — на суффиксе (*живѳт, живѳтá, живѳтѳту...*).

Наконец, до нас дошли застывшие обороты, где слово *живот* употреблено в том значении, которое ему было свойственно в момент образования всего оборота. Особенно интересны в этом отношении пословицы. Сравните хотя бы эти: *У мила живота везде ворота* (смысл: «Нажитое легко пропадает»; речь здесь идет, очевидно, об имуществе). *Богат Мирошка, а животов — собака да кошка* (здесь *животы* — совсем иное: домашние животные). *Животы — что голуби: где хоят, там и сидят* (по-видимому, в данном случае наше слово употреблено в значении 'жизнь').

Вот и на этом примере мы убедились, как постепенно значение слова из самого общего, но одного растекается по более частным, уже конкретным. Совсем как деление амёбы: сначала нечто единое, потом постепенное членение, завершающееся полным разрывом частей. Отличие от амёбы в нашем случае заключается в том, что из всех вновь получившихся частей сохранилась только одна (*живот* 'желудок'), а остальные постепенно исчезли.

Почему — это ясно. Чтобы в речи не происходило смешения лексически похожих, но семантически разных слов. Чтобы речь не мешала языку.

Рассказ третий

О СИНЕМ МОРЕ, СИЗОМ ВОРОНЕ И ЧЕРНОЙ КРУЧИНЕ, А ТАКЖЕ О САМОМ КРАСИВОМ ЦВЕТЕ

У самого *синего* моря. А море-то не синее. *Сизый* ворон? Тоже как-то сомнительно, он черный. Вот разве что кручина действительно *черная*... если может иметь цвет нечто беспредметное, неопределенное.

И снова сказка ставит перед нами загадку. Выдуманно все это когда-то? Или мы теперь не понимаем древнего смысла слов? А слова-то не особенно старые. Это не те ряды слов, которые пришли к нам из древности в готовом наборе, вроде таких, например: *нос-ухо-око*... и так далее. Многие, очень многие слова возникли буквально на наших глазах. Можно документально установить, что пятьсот лет назад такого-то слова не было или оно употреблялось совсем в другом значении, а вот теперь мы совсем не можем обойтись без него, настолько оно важно. Слова, возникая в языке, вступают в сложные и противоречивые отношения друг с другом, сходятся и расходятся, расцветают и теряют краски, каждый раз отражая постепенное познание мира говорящим на этом языке народом. Необходимость обозначить новое, только что открытое явление или качество небывалым словом существовала всегда, и в древности также. Многие слова, такие привычные теперь, когда-то могли казаться дерзким новшеством, непонятной блажью, чудачеством или чудом — в зависимости от отношения к делу. Очень удобно такого рода изменения проследить на примере слов, обозначающих цвет.

Из учебника физики вы знаете, что цветовая гамма состоит из семи основных цветов спектра. В настоящее время мы, конечно, различаем гораздо больше цветов: разного рода оттенков красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего, фиолетового.

Но еще сравнительно недавно, поколений пятнадцать — двадцать назад, люди не различали, например, синего и зеленого цвета. Для них он совпадал в одном, похожем на черный. Даже в XX веке многие дикие племена в Африке или Южной Америке четко противопоставляют только красный — черный — белый цвета. Каждый из них имеет свой смысл, все одинаково важны в представлении этих народов. Они и обозначены словом только потому, что важны в жизни — все остальные цвета бессмысленны, бесполезны, и потому их не видят. Их не видят потому, что не знают. Поэтому никак и не называют. И заметьте: черного и белого нет в солнечном спектре, это ведь не цвета, а бесцветные соединения цветов. В науке они так и называются: «ахроматические», что по-гречески значит «бесцветные».

Разные человеческие коллективы, разные народы в разные эпохи различным образом воспринимают окружающий их цветовой мир.

Сначала человек не различал цветов вовсе, все окружающее для него было белым или черным, иногда и серым. Именно таким видит мир собака — черно-белым. И слово *белый* обозначает все, что угодно: это и 'белый' в нашем понимании, это и 'прозрачный', это и 'светлый'. *Бел-горюч камень* — камень, который горит бесцветным пламенем, настолько бесцветным, что его и не видно.

Затем в этот ахроматический мир ворвался красный цвет, цвет солнца, горячего песка и огня. Цвет крови и жизни. Он, этот цвет, особенно выделился позднее, на следующих этапах, когда человек стал осознавать еще и зеленый цвет, цвет травы и деревьев. И только позже, много позже, из черного стал выделяться еще один цвет. Тот, который мы, говорящие на русском языке, называем теперь синим. Гораздо труднее оказалось отделить оранжевый от красного, а голубой и желтый от зеленого. Что же касается фиолетового, то впервые его определил английский ученый Исаак Ньютон — тот самый Ньютон, который и установил физические закономерности солнечного спек-

ра. Фактически же вплоть до XVII века синим кончается видимый спектр. Все, что дальше, казалось черным.

Но мы с вами интересуемся не физическими характеристиками спектра — не все они передаются языком, и тогда современная наука изобретает свои термины. Мы же пытаемся определить, как постепенное обогащение человеческого опыта откладывалось в языке, в частности в названиях цвета. То, что *оранжевый* и *фиолетовый* довольно поздно попали в русский язык, показывают и сами названия — они французские. В середине XVIII века поэт Антиох Кантемир, российский посол в Англии, впервые перевел на русский язык «спектр Ньютона», и вот что у него получилось: *фиалковый — пурпуровый — голубой — зеленый — желтый — рудо-желтый — красный*. Ни *оранжевого*, ни *фиолетового*, ни *синего* нет — они еще только оттенки близких им тонов, да и конкретный цвет фиалки — вовсе не всякий фиолетовый цвет. Нет, не случайно в конце этого века, сквозь дымку времени, Пушкин увидел старого инвалида, который, сидя на столе, клал *синюю* заплату на *зеленое* сукно. Для героев «Капитанской дочки» синий — темный оттенок зеленого, не больше.

А как было в более раннее время, у древних славян?

В одном сборнике, написанном в Киеве в 1073 году, цвета радуги ограничиваются всего четырьмя: *В радуге свойства суть червеное, и синее, и зеленое, и багряное*. Итак, красный — зеленый — синий и . . . и все, потому что слово *багряный* одинаково могло означать и 'красный', и 'черный', во всяком случае, слово *багряный* и слово *червоный* одинаково передавали впечатление от красного цвета. Вот и весь спектр, три цвета: *червоный — зеленый — синий*. В первом соединены красный и оранжевый, во втором — желтый, зеленый и голубой, в третьем — синий и фиолетовый. А если словом *зеленое* обозначается и желтый, и зеленый, и голубой цвет, ясно, что в XI веке само слово имело совсем иное содержание. И теперь мы только очень условно, с большой натяжкой можем считать, что тогдашнее слово *зеленый* обозначало также и зеленый цвет. От тех именно времен сохранилось сочетание *зелено вино*. Еще древнеримский писатель Плиний белое виноградное, т. е. светлое с наблеском влаги, вино называл зеленым; в русских песнях таким оно навсегда и осталось. *Зеленый* включал в себя самую светлую

часть спектра. Для того и использовалось древнее славянское слово: *зеленый* — светлый, как трава. Светлый цвет — в отличие от *белого*, тоже светлого, но не цвета.

Тот же состав спектра сохраняется еще и в русской летописи под 1230 годом, но скорее как дань традиции, как символ. Ведь радуга 1230 года, по мысли летописца, стала предзнаменованием монголо-татарского нашествия. Во всяком случае, в начале XVI века такую символику цвета уже знали и объясняли ее так. Четыре цвета радуги связаны с четырьмя стихиями: *зеленый* от воды, *синий* от воздуха, *красный* от огня, *черный* или *багряный* от земли. На Русь такое представление попало из переводной литературы. Но символика цвета и возникает лишь тогда, когда сами цвета уже точно известны, определены и названы.

В другой русской летописи под тем же 1230 годом в качестве горестного предзнаменования летописец приводит такую примету: *явились на оба пол (на обе стороны от) солнца столпы — черлены и желты, зелены, голубы, сини, черны, т. е.:*

красный	?	желтый	зеленый	голубой	синий	черный
---------	---	--------	---------	---------	-------	--------

Оранжевого еще нет.

Может быть, вместо *оранжевый* употреблялись когда-то слова *жаркой* или *рыжий* — со значением 'красно-бурый'. Это слово известно с конца XIII века, но прежде оно было связано с красной частью спектра. *Рыж* и происходит от того же корня, что и слово *руда* — 'кровь'; у Кантемира *оранжевый* — *рудо-желтый*. И это не единственный случай, когда язык использовал старое слово для обозначения нового, только что обнаруженного цвета. *Желтый*, например, родственник и *золе* (которая сера), и *золоту* (которое золотисто), и *зелени* (которая зелена), да еще и *желчи* (которая может иметь красноватые тона) — все эти слова восходят к общему корню *-г^вел-*. Так какой же цвет раньше всего можно было связать в представлении древних со словом *желтый*? В народных заговорах от сглазу еще так недавно *желтый* значил 'карий': *Спаси нас от серого, от синего, от черного, от желтого глазу, от плохого часу...* Довольно зыбкой становится почва, как только из строго очерченного мира физических закономерностей мы переходим в царство словесных теней.

Теней, потому что многих слов, которые прежде служили для обозначения цвета, теперь уже нет в языке. Судите сами. Красный цвет древние славяне обозначали несколькими словами, из которых главными были *червен* и *багрян*. Фактически же их было больше, так как они имели варианты: *червен*, *черлен*, *червлен*, *чермен* или *багр*, *багор*, *багрян*, *багрэн*. Обозначали все они красный, он же румяный, он же кровавый, он же рыжий, он же алый, он же огненный цвет. Вот только *багряный* чуть темнее *чермного*, он находится по другую (фиолетовую) сторону известного нам теперь спектра; *червленный* — вторичное слово, связано со словом *червь*, потому что из некоторых видов червя (кошенили) добывали светлую красную краску. ✱

Что важно, так это четкое противопоставление красного цвета черному, никаких других слов для обозначения черного древние славяне не знали.

Зато неопределенные ахроматические цвета — белый и серый — имели целый букет обозначений. Почти для каждого предмета — свое собственное слово. Серо-голубой глаз называли *зекрым*, темно-серую с сединой лошадь — *сивой*, мрачно-стальную волчью шерсть — *дикой*, бледно-серое оперение голубя — *голубым*, остывшую золу — *серой*, темно-голубые, почти серые полевые цветочки — *модрыми* и так далее до бесконечности. Некоторые из этих слов так давно утрачены языком, что мы просто ничего о них не знаем. А если все приведенные слова сравнить с далекими их родственниками в других языках, окажется неожиданная вещь: *сивый* в литовском языке обозначает вовсе не 'серый', а 'белесый'; и все прочие перечисленные слова также когда-то были связаны с белым цветом.

С самим *белым* и того хуже. Это слово, действительно, не заменяется никакими другими: белый всегда *белый*. Однако оно имеет самые различные значения, причем не всегда связанные с цветом. В древнейших текстах его можно понимать также как 'чистый', 'пустой', 'незаметный', 'прозрачный'. Может быть, от тех далеких времен, когда корень *бел-* обозначал нечто сокровенное, таинственно скрытое от глаз, и дошли до нас многие сказочные выражения вроде *бел-горюч камень*, который искать да искать, пока найдешь, или символика белого цвета, цвета чистоты и бессмертия.



У некоторых народов восток связан с белым цветом: на востоке восходит солнце. Запад для них — это черная ночь, запад заглатывает солнце. У восточных славян немало иначе: запад у них был связан с белым цветом (Белая Русь, откуда современная Белоруссия), север — с черным (Черная Русь, Чернигов — к северу от Киева, центра

Древней Руси), юг — с красным (Червоная Русь, позднее — к юго-западу от Киева). Оказывается, и у славян наряду с серо-бело-черными тонами общественно важным, признаваемым когда-то был только красный цвет. Именно его и сделали они навсегда своим народным цветом, потому что с отдаленных времен он и являлся единственным собственным цветом, да и потому еще, что он — красивый цвет.

Красивый цвет. *Красивый — красный...* Один и тот же древний корень, хотя и с разными суффиксами. Может быть, эти слова и обозначают одно и то же? Почему до сих пор мы ни слова не сказали о теперешнем обозначении цвета *красный*?

А не сказали мы этого потому, что до самого начала XVI века прилагательное *красный* обозначало не цвет, а именно качество красоты и своим значением было равно современному слову *прекрасный*. В описании путешествия Игнатия Смольнянина XV века сказано так: «Певцы же стояху украшены чудно. Старейший (из них) бе *красен яко снег бел*». С одной стороны, все певцы были украшены (например, одеждами), с другой — их руководитель был украшен (*красен*, т. е. 'красив') также и потому, что по старости своей был бел как снег (или прекрасные одежды его были белы как снег). Здесь мы встречаемся со старым значением слова: *красный* значит 'красивый'. *Красна девица* в былинке и в сказке — красивая девушка, и вовсе не красная, а белая, белолицая (так понимали красоту наши предки). Это значение сохранилось в некоторых славянских языках, например в украинском и белорус-

ском. Сохранилось потому, что в этих языках до сих пор для обозначения красного цвета служит древнее слово *червен*: *червенный*.

В русском же языке постепенно, сначала в деловых документах (первая запись относится к 1515 году), а затем и во всех прочих случаях, 'красивый' стал 'красным', хотя долго еще, вплоть до петровских времен, помнилось и прежнее значение слова. С этого времени слово *красный* — общее обозначение для всех оттенков красного цвета, а эти оттенки множатся буквально на глазах. С середины XIV века до конца XVII века в русский язык пришли *алый* (это слово есть в рукописи 1351 года), *вишневый* (1392 г.), позже *брусничный*, *гвоздичный*, *маковый*, *малиновый*, *бурый* и многие другие, связанные с определенными цветками. *Цвет* и *цветок* в сознании наших предков — одно и то же. И вот когда для обозначения оранжевого цвета стали вместо старого слова *жаркой* употреблять заимствованное *оранжевый* — в русском литературном языке и закончилось формирование слов для обозначения основных цветов красно-желтой части спектра.

С цветами сине-голубой части дело обстояло куда сложнее. Мы уже видели, что пепельно-дымчато-голубые оттенки обычно связывались с цветом обозначаемого предмета: *сивый конь*, *зекрый глаз*. Точное значение некоторых слов этого типа, ушедших из языка, ученые до сих пор не могут установить. Например, *бусый волк* в «Слове о полку Игореве» — серый? белый? голубой? красный? Все такие мнения высказаны, и все они сомнительны. Сомнительны потому, что этот частный цвет бесцветного (ахроматического) ряда связан был с особенностями одного, теперь, возможно, истребленного животного. Как если бы вдруг исчезли все светло-серые голуби — и мы удивлялись бы, почему слово *голубой* связано с голубями.

Пора сделать одно важное замечание. Оно покажет нам смысл всех изменений в обозначении цвета. Смысл такой: различие реальных цветов человек познает постепенно, все усложняя свое представление о мире. И все свои открытия передает в язык для всеобщего пользования. Но язык — это сложная система, которая не сразу отзывается на человеческие открытия; сначала она их проверяет на разных сочетаниях слов, испробует так и эдак и только в конце концов по своим языковым законам, независимо от

воли и пожелания людей, вырабатывает свое собственное, языковое обозначение цвета.

Пока люди цвет дикого волка называют *диким*, цвет зрачка называют *зекрым*, цвет голубя — *голубым* и т. д. — это еще не обозначение цвета, это только указание на качество предмета сравнением с другим предметом. *Серебряные волосы* — ‘волосы к а к из серебра’. Сравнение помогает пониманию. Однако при этом люди пользуются старыми словами в старых значениях. Никаких изменений в языке не происходит.

Но когда на место целого вороха слов-сравнений, обозначающих оттенки серого, приходит одно-единственное, которое с одинаковым правом можно распространить на все предметы серого цвета, — вот тогда в дело вступил язык: он обобщил многие и многие частные значения одного и того же цвета, все прежние метафоры и сравнения, все случайные наблюдения людей, сделанные неожиданно и на один раз. Только с этого момента мы можем говорить, что в языке действительно появилось слово, обозначающее данный цвет. *Красный* — с XVI века, *серый* — ... Что же с *серым*?

До самого XIV века восточные славяне смешивали с бесцветными белым, серым и черным «холодную» часть спектра, т. е. фиолетовый, синий, голубой, некоторые смешанные тона зеленого. В самом деле, багровое от кровоподтеков место на теле называлось *синяком*, мавры и эфиопы («люди, черные образом») постоянно назывались *синцами*, блеснувшая в черных тучах молния также *синяя*, и даже полная луна в ночном небе — *синяя*, что, согласитесь, совсем уж странно. В текстах XI—XII веков люди «*сини яко сажа*», а, с другой стороны, седой человек выходит «*синеюца* власы своими». Ни с черной сажой, ни с сединой мы с вами теперь не свяжем ни одного значения слова *синий*.

Мы-то не свяжем, а вот некоторые старушки в далеких северных деревнях, до сих пор сохраняющие старые особенности речи, довольно легко смешивают *синий* и *черный*. О двух парах сапог, с нашей точки зрения абсолютно черных, одна из них сказала: *Эти черные, а те синие*. Первые были мужские кирзовые сапоги, вторые — резиновые дамские сапожки с солнечным отливом. Вот как, оказывается: *синий* — это блестящий черный, черный цвет с блеском. Отсюда и мерцающий синяк, и облитое

потом черное тело эфиопа, и блеск молнии в черных тучах, и густой лак горсти сажи, и отблеск с головы седеющего брюнета. *Синий* — не цвет, *синий* — степень яркости темного цвета, все равно какого: и собственно синего, который раньше назывался другим словом (*сизый*), и фиолетового, и черного, и даже темно-красного. Поэтому *синее море*, *сизый ворон* и *черная кручина* — это всего лишь



разные вариации черного в представлении наших предков. И *си-вый*, и *си-зый*, и *си-ний* восходят к одному древнему корню. Исконное значение этого корня сохранил глагол *си-ять*.

Могли ли сиять светлые краски и цвета? Разумеется, могли. И потому в средние века для светлого цвета с отблеском появилось слово *лазоревый*. Само по себе оно сначала служило для обозначения блестящего голубого цвета, оно и связано своим происхождением со словом *лазурь*. Так называлась голубая краска минерального происхождения, очень дорогая в средние века. Но в русском языке голубой отблеск лазурита распространился также и на другие цвета. Так появились *лазоревое поле*, *лазоревое море* («Море по обычаю стоит лазоревое» — XVI век: речь идет о Средиземном море, волна которого скорее зеленого тона), *лазоревый блеск* («дали одиннадцать пугвиц сизовых с лазоревым нацветом»), *лазоревые цветы*... Спросите своих знакомых, какого цвета лазоревый цветок, и вы услышите самые различные ответы: назовут и голубой, и синий, и розовый, и малиновый, и зеленый. Ничего удивительного, все эти цвета действительно могут сиять, блистать. А *лазоревый цветок* из бабушкиной сказки — не голубой и не малиновый, а блестящий и яркий. Именно это старое значение слова можно найти и в произведениях писателей, хорошо чувствующих слово. Вот как И. С. Тургенев начал одно из них: «Однажды Верховное Существо вздумало задать великий пир в своих *лазоревых* чертогах...»

Вот как странно было когда-то: голубой, синий, фиолетовый смешивали, называя то *багровым*, то *черным*, а степень яркости каждого цвета все-таки различали и обозначали специальным словом.

А что если вопрос поставить иначе: может быть, и не нужно было нашим предкам различать эти цвета, может быть, их вполне устраивала их собственная классификация тонов? Какая разница — черный или фиолетовый — важно другое: блестящий или нет. Вполне возможно, что так оно и было. Но определенно ответить на этот вопрос можно только после внимательного изучения цветообозначений в каком-то одном тексте. Воспользуемся для этой цели «Словом о полку Игореве», созданным в конце XII века. Это тонкое художественное произведение, в котором цветовым и звуковым впечатлениям автора отводится видное место.

Какие же цвета различает автор? Смотрите: *черный ворон*, *черные тучи*, *черная земля*, *черная паполома* (покрывало), *багряные столпы* (уже в знакомом нам значении: густокрасные с синим и фиолетовым отливом), *сизый орел* (темно-лиловый с синим отливом). Это все цвета мрачные, с ними связаны плохие приметы. А *синий*? *Синий Дон*, *синие молнии*, *синее вино*, *синяя мгла* и несколько *синих морей*. Конечно же, и у автора «Слова» *сүний* еще не обозначает какой-то определенный цвет, это с и я н и е темных тонов. Историки верно связали былинное *синее море* и *синее вино* с красным виноградным вином: Плиний сравнил этот цвет с с и н е - б а г р о в ы м аметистом.

Красная часть спектра представлена широко: *черленые щиты*, *черлен стяг* и *черлена чолка* (бунчук). Слово *красный* здесь еще не обозначает цвета, указывая на качество: *красный Роман*, *красные девицы*. Зато слово *кровавый* одновременно обозначает и качество, и цвет: *кровавые зори* и *на кровавой траве*, т. е. на траве, залитой кровью. Так же обстоит дело и со словом *зеленый*. С одной стороны, уже цвет (*постлать зеленую паполому*), а с другой — еще качество зелени, связанное с *зеленым деревом* и *зеленой травой*.

«Бесцветные» цвета также представлены в изобилии: *серые волки* и *бусови волки* (*бусови* еще и вороны), *серебряная седина* и *серебряные струи* в *серебряных берегах*, еще *жемчужная душа*, а также *белая хоруговь* и *белый гоголь*, что очень странно, поскольку ни княжеская хоруговь,

ни птица гоголь не были белыми. Дело прояснится, если мы вспомним, что древнейшее значение слова *белый* не связано с цветом, а обозначало качество: прозрачный, светлый. Еще в XVI веке в качестве особой приметы так описывали одну личность: *А Петр рожеем белорусъ, очи белы, ростомъ великъ* — светлые очи. В XI же веке, переводя жизнеописание Александра Македонского, древний русич отметил, что у Александра *едино око бело, а другое черно*, что явно не к добру; и действительно, светлое и темное переплелись в личности полководца. Так и в «Слове о полку Игореве» только дважды употреблено слово *белый*, в остальных случаях его просто заменяет равное ему по значению — *светлый*. *Светлым* и даже *тресветлым* здесь является солнце. Оно связано со множеством слов, имеющих отношение к свету: *светлое солнце* — *светъ солнцу* — *солнце светитъ*. Одновременно с тем *свет светлый, заря свет зашла* и т. д. Свет, заря, солнце светлые, а бупчук и птица белые, потому что они, будучи светлыми, сами по себе все-таки не светятся.

Странный по краскам мир окружал автора «Слова». На ахроматическом, но богато ornamentированном оттенками серо-бело-черном фоне (со строгим противопоставлением разной степени яркости и внутренней «светимости») яркими маками распускается красный цвет, а зеленый еще только пробивается из характеристики реального качества: *зеленое дерево* и *зеленая трава* — это дерево и трава цвета зелени, как *серебряные струи* цвета серебра, а *красавые зори* цвета крови. В языке еще нет слов, чтобы назвать цвет того, что может быть оранжевым, алым, рыжим, малиновым, желтым, зеленым, голубым... Однако язык открыл уже способ названия цветов, и спустя некоторое время этот способ пригодится: *коричневый* цвета корицы, как *коричневый*; *малиновый* цвета малины, как *малиновый*, т. е. малиновый и есть. Ведь только с помощью языка и можно передать свои впечатления от многоцветья окружающего человека мира.

Не удивлялись ли вы ограниченности тех определений цвета, которые даются разным существам и предметам в произведениях народного творчества? В песнях и в былинах платье, одежда, рубашка, шатер, всякого рода одеяние может быть только *белым* или *черным*, причем белое всегда связывается с *добрым молодцем* и обычно в радости, а черное принадлежит *злому ворогу* и всегда сопутствует

печальным обстоятельствам жизни. Сравните еще противопоставления: *черное облако — белый снег, черный ворон — белый камень* (на котором ворон сидит), *черная земля — белый свет*. Еще могут быть *черный стул, черлено крылечко, черлены стяги*, а *зеленым* называется только *зелень — зелена трава, дуб, древо*. То же самое представление о цвете, что и в «Слове о полку Игореве», и дошло до нас от той же эпохи. Впрочем, и в современной поэзии сохраняется привязанность к этим трем цветам. У большинства поэтов *черный, красный, белый* стоят на первом месте — настолько устойчива и давно осознана символика этих слов.

Красный — это красивый, но красивый в жизни. Церковный писатель никогда бы не выбрал этого слова для обозначения красных тонов, потому что для него красный цвет — цвет ада. Тоже символика, но с обратным смыслом, не хорошее, а плохое. Иногда символика цвета воспринималась из чужих языков и видоизменялась по привычному образцу.

У восточных соседей славян такое же восприятие белого и черного, как и у славян. Но вот галицкий князь Даниил в 1250 году посещает ставку Батыя, и там его заставляют пить ритуальный напиток — кумыс. «Данило!.. Пьешь ли черное молоко, наше питье, кобылий кумузь?» Пришлось пить: «*О! злее зла честь татарская*». Кобылье молоко такое же белое, как и коровье, а вот, поди ж ты, называют его *черным*. Летописец перевел тюркское словосочетание, в котором *черный* обозначает 'крепкий', 'хмельной'. В дальнейшем это переносное значение слова не привилось, оно было чуждо не только русскому сознанию (хмельное не всегда злое), но и символике его языковых обозначений. Вот если *черное молоко* понимать как 'поганое, нечистое', тогда другое дело, тогда все становится ясным. В представлении же самих русичей слово *черный* в переносном значении — 'настоящий, подлинный'. Это то, что можно видеть, что есть. Это цвет земли и реальности, потому он так устойчиво один и един во все времена.

Символика других цветообозначений возникла у славян много позже. Слово *желтый* вообще использовалось редко, потому что это цвет скорби. В сказках язычников-славян *тридевятое царство*, царство мертвых, является желтым и змей, охраняющий вход в него, тоже желтый.

На древних картинках его и рисовали желтым. У новых цветов: у синего, у оранжевого, у фиолетового — символика неустойчивая, случайная — верный знак, что и слова новые.

Так постепенно, с течением времени, следуя за человеком, последовательно проникавшим в противоречивый и сложный мир красок, цветов и оттенков, развивалась в нашем языке система слов, обозначающих цвет.

А нецветастый мир древнего русича осуждать не будем. Во многом его видение точнее и богаче современного, в котором физические характеристики интенсивности, отраженности и цвета слились в одном цветообозначении. Потому и слов этого рода в нашем языке больше, чем нужно, и требуется нам помощь дополнительных слов: *темно-красный, светло-красный...* Проще можно сказать, точнее: *червленый, чермной, багряный* — и *синий*. Тут сразу все видно, красный светлый или темный, отражает свет или нет, глубокий тон или с примесью белого.

У каждого времени свой взгляд на вещи.

Рассказ четвертый

О БРАТЬЯХ-МЕСЯЦАХ В ТЕ ГОДЫ, КОГДА ВРЕМЯ ЕЩЕ НЕ БЫЛО ЧАСОМ, А ЛЕТО — ВРЕМЕНЕМ

На первый взгляд кажется, будто количество слов бесконечно: сотни, тысячи, длинные ряды, которые теряются в тумане словарей. Но так только кажется. Самое простое наблюдение опровергает этот взгляд.

Слова даже в словаре не лежат случайной грудой, подобно ягодам в корзине. Они приведены в порядок, по возможности соединены или соотнесены друг с другом по степени их близости или родства. Слова, обслуживающие какую-то узкую часть человеческой деятельности или отражающие определенный отрезок окружающего нас мира, вступают в тесные лексические (т. е. словесные) или семантические (т. е. смысловые) отношения, образуют лексико-семантические группы конкретного и всегда легко обозримого ряда. А ряды имеют концы. Вот один такой ряд: бой — драка — рать — брань — сила — полк — битва — сражение...

В подобном перечне это набор слов, но не просто набор. Вы, зная современный русский литературный язык (именно современный, именно литературный и именно русский), всегда определите взаимное соотношение между этими словами... Некоторые из них показались вам устаревшими (*рать*, *полк* в значении 'битва, сражение' или 'военный поход', как в «Слове о полку Игореве»), другие, оказывается, изменили свое значение по сравнению с прошлым (*брань* теперь не обозначает 'сражения'), третьи стали употребляться только в некоторых сочетаниях (*вооруженные силы* — это то, что когда-то называли *полком*, а позже

ратью: 'воинские силы, все участники боев'), а четвертью сохранились в языке, но употребляются только в определенных случаях, причем каждое из них имеет свой определенный стилистический привкус, например: *бой — драка — битва — сражение*. Слова обозначают одно и то же, но в каждом отдельном случае сказать можно только так, а не иначе: *бой местного значения — битва под Сталинградом — сражение, решившее исход войны*.

Уже беглый взгляд на приведенные слова позволяет нам выявить историзмы, архаизмы, синонимы, многозначность слова, переносное значение слова и т. д. Каждое слово имеет свою особую характеристику и может употребляться только в определенном контексте. Следовательно, каждое слово входит в свою систему.

И изменение в лексике происходит не просто потому, что прежнее слово кому-то стало казаться некрасивым, или неприличным, или маловажным. Очень часто изменение связано с тем, что сместились прежние соотношения между старыми словами, изменилась лексическая система целиком. Нагляднее всего это можно проследить на изменениях внутренне замкнутой частной системы: она изменяется вся сразу, а не отдельными словами, но изменяется постепенно.

Каждый знает сказку о братьях-месяцах. Почему их было ровно двенадцать? Могло быть и больше, могло быть и меньше — смотря как считать месяцы. Одни народы делили год на десять частей — месяцев, другие — на 12 или 13. А вот у славян было всегда двенадцать месяцев.

Хорошо, пусть двенадцать. Очень удобный пример для того, чтобы рассмотреть изменение «внутренне замкнутой частной системы». Системы потому, что месяцы следуют в строгом порядке друг за другом. Когда бедной падчерице из сказки понадобились подснежники, не сразу встал юный март и взмахнул рукавом — прежде прошли зимние месяцы и довели время до марта. Через время-то не перескочишь, даже в сказке!

Месяцы выстраиваются в определенном порядке, и каждый из них связан с каким-то изменением в природе. Скажем, март мы могли бы назвать *подснежничек*. Очень светлое имя, нежное такое. Ручьи из-под снега, птицы поют, весна!

Но язычника в далекие те времена невзрачные подснежники интересовали мало. Он вступил в борьбу и в дружбу

с природой, ему нужно вовремя посеять и собрать хлеб, скосить сено и вырастить скот. Много и других дел нужно успеть сделать за короткое лето. А лето идет за солнцем, и человек живет по солнцу. У него и выражений, связанных с солнцем, много, хороших выражений: *усолонь* ('тенистое место'), *посолонь* ('по солнцу: с востока на запад'). И все поверья его и приметы связаны с солнцем. Весной он печет подобие солнца — круглый горячий колобок, раздирает его руками и кормит всех вокруг, чтобы у всех внутри горело солнце. Осенью, собрав хлеб, он закалывает разноцветного, отливающего блеском петуха, кропит землю дымной его кровью и просит Солнце поскорее вернуться снова. И свой календарь он также строит по солнцу, учитывая все работы, которые важны в нелегком крестьянском деле.

Март в его календаре назывался не *подснежничком*, март — это *сухой* месяц. Странно, конечно, что время года, которое знаток русской природы писатель Михаил Пришвин назвал весной воды, — сухое время. Однако древнего крестьянина интересовала не красота весны, его интересовал будущий урожай. Он шел в лес, следил, как сохнут на первом солнце подрубленные им деревья и кустарник. Когда же все достаточно просыхало, он жег их тут же, на корню, насыщая будущую пашню и готовя ее к делу. И когда это происходило, наступал уже следующий месяц — *березозол*: зола сожженных берез кормила землю, и в землю бросалось зерно. Зерно проклевывалось зелеными щеточками на третий с начала весны месяц, и этот месяц назывался *травень*. Следующий за ним назван по имени кузнечика, цикады — *изок*. Была примета: распелись кузнечики — пора косить сено. Затем наступает *червень* — 'красный месяц'. Поспевают плоды и ягоды, созрели овощи. А зерно еще наливаются в колосе. В конце следующего за червнем месяца — *зарва* выходят в поле с серпами и делают самую важную работу: собирают хлеб. Много праздников связано с этим временем года — больше, чем с весной. Это зрелая пора итогов, а не зеленых надежд.

Повеяли первые осенние ветры и прошли осенние дожди в месяц *руинь* 'Ветренный, ветрило, ревуи' — годится любое слово для перевода этого древнего названия для ревающего осенними ветрами месяца. Густо посыпались с деревьев листья в месяц *листопад*. По ночам смерзается земля, и мертвыми горами лежит все вокруг в месяц

грудень. Стынет все от первых морозцев в месяц *студеный*. Не просто стынет, но прямо звенит от мороза, переливается багровым отсветом лес, и дом, и пашня, и лицо, и руки, когда наступает *просинец* (*про-син-ец*). Чуть-чуть отпускает мороз к началу следующего месяца, последнего в сельском году, — *сечня*. Сечень одним глазом в зиму смотрит: секут еще холодные зимние ветры. Другой глаз



уже к весне повернут: одеваются мужики потеплее и идут в лес. Старая пашня оскудела, хлеба дает мало, нужно новую готовить. Вся семья рубит лес, подсекает густые заросли, готовится к весне, пока не пошли по березам весенние соки. И вот снова наступает месяц *сухий*...

Крестьянский цикл замкнулся, и наша система наименований вошла в свои естественные границы. Эта система не просто внутренне замкнута, она ведь еще очень тесно связана с жизнью, она и рождается из этой жизни. Изменились ритм, смысл и содержание жизни — изменилась и календарная система.

Не будем здесь говорить о том, почему древнерусское начало года впоследствии перешло с марта на сентябрь, а после Петра I на январь. Не будем говорить о метеорологических, географических и физических вопросах, связанных с системой летоисчисления. Попробуем разобраться в своей собственной, лексической внутренне замкнутой частной системе. Здесь и своих сложностей вполне достаточно.

В самом деле, в современном русском языке ни одного из перечисленных названий месяцев не сохранилось. Вместо них появились слова, заимствованные из латинского: имена древнеримских богов и цезарей. Это обычная ориентация на международные термины, которая характерна для тех стадий развития «замкнутой системы», когда уже утрачивается внутренняя связь между словами и теми реальными фактами жизни, которые эти слова передают.

Крестьянский цикл жизни не имеет значения не только для купца или монаха, но даже и для ремесленника в городе. Усложнение общественной жизни, появление все новых и новых слоев общества приводили к возможности заменить местную систему обозначений интернациональной. Эта возможность и стала действительностью после петровских реформ в начале XVIII века.

Древние названия месяцев вообще сохранились в некоторых славянских языках, например, в украинском остались:

сечень — но не февраль, а январь,
березень — но не апрель, а март,
червень — но не июль, а июнь,
листопад — но не октябрь, а ноябрь,
грудень — но не ноябрь, а декабрь.

В украинских диалектах есть и *просинец* — только обозначает это слово не январь, а декабрь.

Травень же по-прежнему связан с маем. Другие месяцы сменили свои названия:

февраль называется *лютым* с XVI века,
апрель называется *квитнем* (цветущим месяцем) с XIV века,

июль называется *липнем*, потому что цветут липы,
август называется *серпнем*, потому что убирают хлеб,
сентябрь называется *вереснем*, потому что цветет вереск,

октябрь называется *жовтнем*, потому что желтеют листья.

Вот так и сдвинулась в украинском языке древняя система обозначений, дошедшая до нас от наших общих предков.

Прежде всего, все устаревшие слова, которые вообще вышли из употребления, перестали использоваться и для обозначения месяцев: *изок*, *зарев*, *руин*, а также неясный применительно к февралю *сухий*. Такое изменение понятно, поскольку общий смысл украинской системы остался прежним, исконно славянским: название каждого месяца должно иметь какое-то реальное хозяйственное значение или по крайней мере связываться с известными фактами природы. Значит, старые, забытые слова уходят из любой системы, в том числе и «внутренне замкнутой», но только тогда уходят, когда им тут же находится замена. Обратите внимание: *квитень* — с XIV века, *лютый* — с XVI века,

а иные и позже. Еще и ста лет не прошло, как появился *жовтень* вместо старого украинского *паздерника* (*паздер* 'солома', 'кострица', ср. и современное белорусское название октября — *кастрычнік*). Замена одного имени месяца другим происходила постепенно, не на протяжении жизни одного поколения и не для всех месяцев сразу. Представляете себе, какая путаница возникла бы в том случае, если бы все месяцы сразу стали бы изменять свои имена, по-прежнему оставаясь славянскими, «непереводными» месяцами!

Впрочем, без путаницы и здесь не обошлось: *сечень* — не февраль, а январь... и так далее. Однако эта путаница имеет одну особенность: она систематична. Легко заметить, что смещение названий произошло с одного месяца на другой, но только соседний, причем весной они сместились назад, а осенью — вперед. Конечно же, на Украине плоды созревают раньше, чем, например, под Новгородом, а листопад и заморозки запаздывают, и также чуть ли не на месяц. А система, действительно, по-прежнему ориентирована на реальный мир природы. Может быть, в давние времена общерусская календарная система ориентировалась не на южную Русь, а на центральную часть Руси, а когда после XII века система названий месяцев стала «внутренне замкнутой» украинской, и только украинской, системой, произошел естественный сдвиг и выравнивание по реальному календарю. Слово *липень* у украинцев связано с июлем, а у сербов — с июнем: липы в Югославии цветут раньше, чем под Киевом. Общим основанием такого сдвига могло стать и несовпадение с теперешним составом дней в месяце. Старые-то месяцы шли по «старому стилю», с запозданием почти в полмесяца. Так и получилось вдруг, что половина сечня вошла в сухой и т. д. Лексическая система чутко реагировала на изменения в реальной системе, которую она передает.

В русеком же языке довольно рано, с XII века, наряду с народными названиями месяцев в церковных книгах появляются и новые, заимствованные из латинского языка через греческий. Они еще совсем чужие, эти названия, они и произносятся на иноземный лад, вот так: *януарий*, *февруар* или *февруарь*, *марот*, *априль*, *май*, *иунь*, *иуль*, *аугуст*, *сентемерий*, *октемврий*, *новежбар*, *декежбар*. Даже тогдашние образованные люди не всегда могли бы понять, о каких, собственно, месяцах идет речь. Поэтому-то в ру-

кописных книгах, не жалея драгоценного места на пергаменте, писцы заботливо поясняют: *месяц януарь рекомый просинец*, *месяц октембрий рекше листопадъ*, что значит: 'январь, называемый просинцем', 'октябрь, т. е. листопад'. Такие пояснения встречаются вплоть до XVII века, при этом и формулировки перевода на обычные названия не меняются, пишут *рекомый*, *рекше*, позже также и *сиречь* 'так сказать'.

А вот уже *сиречь* — характерная примета нового отношения к заимствованным словам. Прежде отталкивались от славянских названий, славянским словом поясняли новое: *декембар рекомый студеный* и значит 'декабрь, по-нашему называемый студеный'. Теперь, с XV века, меняется и произношение этих чужих слов, и отношение к ним. *Декабрь сиречь студеный* буквально значит 'декабрь, т. е. студеный'. Это уже не перевод одной системы обозначений в другую, более привычную, а соотнесение двух равноправных систем, одинаково известных и одинаково важных. А тем временем все сложные сочетания звуков в заимствованных словах изменились на русский образец, некоторые слова сократились (например, *сентябрь* вместо *сентемврий*) и стали осознаваться как вполне русские слова, даже суффиксы в них стали находить русские. В *пах-арь* и в *яне-арь* один и тот же «суффикс», а в *невид-аль* и *феев-аль* тоже один и тот же «суффикс». Таким образом, из чудных варваризмов превратились эти слова в русские.

Слова-то русские, верно, и с XIV века уже вполне русские. Но система, создаваемая этими словами, еще не совсем русская, вернее, не только русская. Две системы, обозначающие одно и то же, старая и новая, существовали в то время на равных правах, но с разным назначением. Назовем их стилистическими вариантами. *Январь* и его братья — высокий, торжественный стиль; *просинец* и его братья — обычный, попроще. И понятнее.

Когда же в конце XVII века соединились и государственные интересы России, и необходимость выйти на мировую торговую и экономическую арену, и образование единого русского литературного языка на национальной, русской основе, и распадение старых, сугубо крестьянских представлений о течении времени, — когда все это сплелось в один сложный узел событий, тогда потребовалась одна-единственная система обозначений, общая для всех

и связанная с тою, которой пользовались во всей Европе. И по многим причинам победила переводная, книжная система, она стала русской литературной системой. Вторая, ставшая неважной, постепенно и вдруг распалась.

П о с т е п е н н о — значит в разных районах России не в одно и то же время. Но с р а з у — т. е. утрачивались одновременно все названия старого ряда. Если где-то ух

одил из речи *просинец*, он уводил за собой и *сечень*, и *сухий*, и *березозол* — всех братьев сразу. Семейство оказалось не у дел, потому что всего одним делом оно и занималось: означало месяцы. Слова *студеный*, *сухой*, *листопад* мы и теперь употребляем, но не потому, что это старые названия месяцев. Это старые слова с широким кругом значений. С этими словами ничего трагического не произошло, они всего лишь утратили одно из своих значений.

Система — это ведь взаимное отношение сходных элементов друг к другу. Все равно, каковы они по своей природе и по своему происхождению, эти элементы. Система — это их *соотношение* по какому-то признаку. Признак исчез или стал неважным, соотношение распалось — и нет теперь никакой системы, каждый ее элемент ведет себя с этой минуты по-разному, вступает в новые отношения, создавая новые системы, или бесследно исчезает. Казалось бы, бесследно. Но вдруг возникает новая надобность в нем — и вот он здесь!

Слово *вратарь* обозначало когда-то монаха, который стоял стражем у входа в монастырь. Уже в XVI—XVII веках эта должность стала обозначаться другим словом — *привратник* (тот, кто стоит при вратах). Даже монахам, для которых привычен был церковнославянский язык, слово *вратарь* со старым суффиксом *-арь* казалось устаревшим. И вот много времени спустя оно обрело новую жизнь, теперь уже в совсем другой системе, — системе



названий игроков спортивной команды, но только в этой внутренне замкнутой системе, и нигде больше. Это слово отличается от многих других тем, что имеет одно-единственное значение, вернее, только одну связь: оно заменило собою варваризм *голкипер* 'держатель голов' в системе названий игроков футбольной команды. Это слово — термин. Чем меньше связей у какого-то слова с другими словами, тем точнее и однозначнее отражает оно действительность и тем ближе оно к термину. Чем больше таких связей (и с жизнью, и с текстом), тем богаче его значение, тем оно поэтичнее и многообразнее и тем дольше сохраняется оно в языке.

Теперь вы, конечно, согласитесь с И. С. Тургеневым, который писал, что система похожа на ящерицу: только, кажется, поймал ее за хвост — а хвост и отвалился, новый вырос, новая система начала свою жизнь.

Слова, которые обозначают дни недели, также создают свою внутренне замкнутую систему, но в отличие от названий месяцев эта система построена более рационально, дни недели называются, как дети у древнерусского крестьянина: первый, второй, третий... Впрочем, не совсем так: *Первак*, *Другак*, *Третьяк* — имена детей; *понедельник*, *вторник*, *среда* — названия дней недели.

А почему серединой недели считается среда? Четверг лучше подходил бы для этой цели. Дело в том, что у древних славян неделя, видимо, состояла из шести дней, которые следовали друг за другом в таком порядке: *неделя* (нерабочий день), *понедельник* (идет за неделей), *второкъ*, *среда* (которая и есть середина рабочей недели), *четвертокъ*, *пятокъ*. Субботы не было.

Когда от греков славяне получили новый для них рабочий день, они и назвали его древнееврейским словом в древнегреческом произношении. Случилось это довольно поздно, однако в церковных текстах *субботу* мы встречаем давно.

Церковники по греческому образцу назвали *неделю воскресеньем*. Но экономная система не решилась расстаться с самим словом, сделав его общим названием всего цикла из семи дней: *неделя*. С этимологической точки зрения странно: *неделя* — *не-дела* (выходной), а в современном выражении, кстати не очень удачном, *сделаем на неделе* говорится как раз о рабочей части недели.

Рассказ пятый

О ТОМ, КАК ПРЕДСТАВЛЯЛ СЕБЕ ВРЕМЯ ДРЕВНИЙ РУСИЧ

В самой глубокой древности не неделями и месяцами считали свою жизнь славяне и уж во всяком случае не было у них нашего, привычного нам теперь количества дней в неделе и месяцев в году. Иногда даже трудно представить себе, почему в некоторых древних календарных записях отсутствует *февраль* или *ноябрь*: первый совпал с *январем*, а второй — с *декабрем*, и название для них стало совместным, общим. Но мы знаем совершенно точно, что членение времени по неделям, дням и часам пришло к нам в конце X века из Греции. Для церковников и государственных деятелей столь дробное членение реального времени было важно: когда какую службу править, когда какое дело делать. И еще мы знаем, что с глубокой древности славяне строго противопоставляли такие связанные друг с другом понятия, как «день и ночь», «лето и зима», «год и час», «рок и часть (участь)», «век и время».

Само слово *время* родственно глаголу *вертеть* и первоначально связывалось с изменением в пространстве. С тогдашнего языка на сегодняшний *время* можно перевести как 'вертун'. Никакой разницы между верчением волчка и верчением времени наш далекий предок не видел.

Слово *век* связано со временем, но только относится оно не к миру, а к человеку. Во всех родственных славянских языках этот корень передает значение 'сила, жизнь, действие, борьба', и в древних славянских текстах *век* тоже 'жизнь человека' (*векъ бо речеться и кождо челове-*

ка *жизнь*), его жизненный круг, первоначально связанный только с периодом активной деятельности человека, его духовной и телесной зрелости. Вот и пословицы о том же: *Каковы веки, таковы и человеки; Век живи — век учишь.*

Рок и *часть* тоже связаны друг с другом. Даже в современном русском языке эта связь осознается: *рок* и *участь* одинаково означают 'судьба', только *участь* — *часть* или (как в песнях поется) *талан* — *доля*, то ли будет, то ли нет, и от самого человека зависит выбор своей «части» в жизни. *Рок* же приходит в свой *с-рок*, иногда он существует сам по себе, но тогда *рок головы ищет*, т. е. стремится на кого-нибудь пасть, кому-то доставить неприятность или беду. Впоследствии некоторые славянские языки использовали это слово для обозначения 'часа', например, в украинском *рік* — это 'час'. В русском языке за этим словом сохранилось значение неподвластной человеку судьбы.

Слово *год* в свою очередь когда-то служило для обозначения времени подведения итогов. *Год-ится* и теперь означает, что дело сделано хорошо. До сих пор южные и западные славяне сохранили это слово в старом значении. Например, словенское слово *god* означает 'пора, праздник (зрелости), итог'.

Слово *час* также передавало значение итога, результата, но итога и результата, о ж и д а е м о г о в процессе работы. *Час* — это удобное время для произведения быстрого, мгновенного, как говорят, точечного действия. Как и все прочие древнейшие слова, обозначающие время, оно тоже первоначально передавало передвижение в пространстве. *Делу время — потехе час* мы перевели бы так: 'Делу вертеться (долго) — для потехи только передышка, остановка на краткое время'. Перевод, конечно, неуклюжий, но зато точный. Он передает смысл пословицы, тот смысл, который вкладывали в нее создавшие ее люди очень давно. Именно так, очень тесно, связаны друг с другом эти два слова: *время* — длительное движение, а *час* — мимолетное; но именно потому *час* всегда какой-то итог; так же как и *век* или *год*, они ведь всегда ограничены каким-то конкретным пределом; в отличие от бесконечного времени они имеют начало и конец: *век* — 'конец жизни', *год* — 'конец трудовой страды', *час* — 'конец ожидания'.

Что же касается *дня* и *ночи*, *зимы* и *лета*, то тут все значительно проще. Это настолько разные явления, день

столь сильно отличается от ночи, а лето от зимы, что связать их вместе, дать им общее название люди смогли не сразу. Поэтому слово *сутки* у нас появилось лишь к концу XVI века, а *год* в современном значении — только немного раньше. Еще до недавних пор в некоторых русских говорах *сутками* назывались сумерки — время, когда день и ночь сходятся вместе, сплетаются, «стыкаются» (*сутки* и восходит к слову *ткать*). Раньше, правда, вместо слова *сутки* употреблялось слово *день* в значении ‘день и ночь вместе’, и оттого само слово *день* становилось многозначным. *День* — это и светлое время суток, и рабочее время, и время пути в путешествии, и юг (потому что солнце в середине дня стоит именно на юге). Реальные различия между днем и ночью казались более важными, чем их условное календарное единство, которое до поры до времени не имело никакого практического значения.

Мы уже говорили о том, что наши предки — земледельцы и скотоводы — строили свой календарь по солнцу. И названия времен года связаны у них с явлениями природы. Слово *лето* происходит от глагола *лити* ‘лить’. *Лето* — время дождей, *зима* — время снегов. Эти два слова имели множество значений: *лето* — это и летнее время, и южное направление, и определенный отрезок жизни (столько-то лет), и год; *зима* — не только зимнее время, но также северное направление, снег, холод, озноб и т. д. Слова же *весна* и *осень* всегда имели по одному значению, они указывают на промежуточные времена года, ни то ни се: солнце греет, но холодно, или, наоборот, солнце не греет, но тепло. И подобно тому как *сутки* назывались по светлой, рабочей своей части *днем*, так и год в целом вплоть до XV века в русских летописях назывался *летом*. «В *лето* такое-то напали на Русь половцы...» — а дело было осенью или зимой, совсем не обязательно летом. Такое обозначение цикла из 365 дней казалось более простым, чем пользование словом, которое обозначало бы и зиму, и лето вместе.

Но тем временем исподволь изменялись исконные значения слов *век*, *год*, *час*... Изменялись они, как обычно изменяются значения слов, пересекались и связывались с другими, соседними, или отталкивались от них, расширялись, или, наоборот, сужались, изменяли свою выразительность и частоту употребления. Как бы то ни было и каким бы изменениям эти слова ни подвергались, одно у них

было общим: они изменялись в одном направлении. Это направление было задано системой взаимных отношений слов, их общей взаимной связью, и потому ни одно, самое мелкое отклонение в значении или употребительности одного слова не могло не отразиться на других словах, обозначающих то же самое или, наоборот, прямо противоположное понятие. И это общее направление изменений мы можем зрительно представить себе в такой таблице:

<i>время</i> ('вертун')			
1 <i>век</i>	1 <i>год</i>	1 <i>час</i>	1 <i>рок</i>
('время жизни')	('время праздника, итог')	('ожидаемое время, пора')	('предопределенное время')
↓	↓	↓	↓
2 о п р е д е л е н н ы й	2 о п р е д е л е н н ы й	2 о п р е д е л е н н ы й	2 с р о к
↓	↓	↓	↓
3 о п р е д е л е н н ы й	3 о п р е д е л е н н ы й	3 о п р е д е л е н н ы й	3 о т р е з о к
↓	↓	↓	↓
4 'тысячелетие' или 'столетие'	4 '365 дней'	4 '1/24 суток'	4 ('год')
↓	↓	↓	↓
5 возраст	5 возраст	5 (возраст)	5 (возраст)
			↓
			('судьба')

Для каждого значения мы можем подыскать цитату из древних текстов. Только периоды изменения в значениях у наших слов могут не совпадать друг с другом, а иногда несколько значений могут сосуществовать в одно и то же время. *Час* в значении '1/24 суток' появляется много раньше, чем *год* в значении '365 дней'. А *год* и *рок* вступили в конкуренцию и потому вытеснили друг друга: в украинском победило слово *рік*, в русском — *год*.

И еще вот что важно и интересно. Развитие значений в каждом случае, в каждом слове отдельно идет от конкретного к абстрактному, а затем снова конкретизируется. Сначала из общего представления о мире, в котором само движение и время движения совмещены и рассматриваются как одно и то же, выделяется время как самостоятельная и отдельная характеристика события во всех своих вариантах. Это и время жизни, и время праздника, и ожидаемое время, и предопределенное богами время. Всякое

время, но обязательно с какой-то своей функцией: это для работы, это для праздника, это для богов... Потом, когда в сознании людей появляется представление о конечности, завершенности каких-то отрезков времени, каждое из этих особых «времен» ограничивается известным пределом, который и позволяет в дальнейшем выделить еще более определенный отрезок времени, «отсюда и досюда». Ну, а тут уже только один шаг остается до того, чтобы с тем или иным древним славянским словом связать конкретный промежуток реального времени: *час*, *год*, *век*. Понятия возраста или судьбы — это уж переносные значения фактически новых слов, действительно новых слов, потому что в наше время эти слова входят совсем в другую систему, не связанную с обозначением времени: мы-то не соединяем понятие судьбы с понятием времени.

Когда же рассыпалась старая система, т. е. старое соотношение слов, и создалась новая система? Я думаю, тогда, когда и *век*, и *год*, и *час*, и *рок* обозначали только определенный отрезок времени, но какой именно — это еще было неясно; когда со словом *год* еще не было связано понятие '365 дней', со словом *час* — понятие '1/24 суток' и т. д. Именно в этот период наши слова могли заменять друг друга. В старых памятниках мы находим много случаев, когда *год* (или *година*) обозначало 'час', *час* обозначало 'минуту' и т. д. И в современном украинском языке корень *год-* сохранился, слово *година* обозначает там 'час'. А в древнерусском «Сказании о Борисе и Глебе» герой проснулся «рано и видел, яко *год* есть утренний». Как перевести этот текст XI века? «Настал утренний час? Было утреннее время? Утренняя пора?» Все современные слова одинаково подходят в данном случае, потому что более четкого осмысления времени тогда еще не было.

Кстати и о *поре*. В исходном своем значении это слово было связано с роком, со значением времени оно стало связываться довольно поздно, именно тогда, до XIV века, когда многие из наших слов получали значение определенного срока, т. е. поры. Особенно тесны связи *поры* с *часом*. Эта связь отражена во многих старых пословицах: *До поры, до часу*; *Час придет и пору приведет*; *Придет пора — ударит час*; *Часом с квасом — порою с водою*. Слова *час* и *пора* одинаково обозначали 'срок', с той лишь разницей, что *час* обозначал моментальное, быстрое дви-

жение, приближение срока, а *пора* — движение длительное. Вот это-то последнее обстоятельство и решило все дело: для обозначения часа стали использовать слово *час*, а неопределенный временной отрезок, расплывчатый в своих границах, стали называть *пора*. Слово *пора* и не вышло за пределы третьего этапа развития значения, изображенного в нашей схеме. Так и осталось в русском языке: «Была та смутная *пора*...» Некая длительность времени в прошлом.

Так, наконец, благодаря постепенным сдвигам значений и оттенков мы получили для нашего литературного языка современные слова *век*, *год*, *час*. Более дробный счет времени, характерный уже для нашего времени с его ритмом и непременным циферблатом, мы начали вести почти с Петровской эпохи. Тогда появились в русском языке *секунда* и *минута* — слова, восходящие к латинскому языку...

Все, что когда-либо узнали наши предки о мире и о себе, они сохранили для нас в языке, который бессмертен. Мы избавлены от необходимости за свою короткую жизнь заново повторять путь, пройденный предками. Чтобы познать освоенное прадедами, нам достаточно первых пятнадцати лет жизни. А потом мы идем дальше, все дальше, каждый раз дальше. Иногда этого не замечая.

Но всегда в языке откладывается новое представление о мире, которое обогащается каждым новым поколением людей. Язык дает более экономную информацию о жизни, чем книжная мудрость.

И заметьте, в языке нет сухой информации счетной машины: «Век равен ста годам, год — двенадцати месяцам, месяц — тридцати суткам, сутки — двадцати четырем часам, час — шестидесяти минутам...» Нет! Век состоит из ста *лет*, а вот *год* состоит из 365 *дней*, а вот *сутки* состоят из 24 часов. Причудливо переплелись в современном языке все старые слова и их значения. *Лето* и *год*, *день* и *сутки*... Все их второстепенные значения, которые и были-то только как бы переходом от исконного древнего к современному, — все они (или почти все) сохранились либо в старых текстах, либо в застывших старых выражениях, либо остались сами по себе как самостоятельные слова. Язык становился не только более точным, но и более образным, богатым, красивым.

Рассказ шестой

О ВЕРСТЕ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ НАС В НЕВЕДОМЫЕ СЕЛА

В предыдущих рассказах на различных примерах показано, как и почему изменяется язык — вообще язык, а не наша с вами речь.

Обратимся снова к истории слов, чтобы лучше представить себе порядок изменения значения слова, потому что и изменения также имеют свою последовательность.

Начнем с истории слова, которого в современном активном употреблении нет, со слова *верста*. О нем мы знаем, что когда-то, до введения метрической системы, *верста* обозначала меру длины — 500 сажен, т. е. 1,06 км.

Еще мы помним пушкинские строки: «Только *вёрсты* полосаты попадаются одне!» — полосатые столбы, которыми обозначали каждую версту дороги. Это, конечно, распространение исходного значения слова — ‘мера длины в 500 сажен’.

А *верстак*? Это слово, по-видимому, сюда не относится, оно заимствовано довольно поздно из немецкого языка через посредство польского и только по звучанию совпало с исконно славянским словом *верста*.

Зато у нас сохранился *сверстник* — вот это действительно ближайший родственник древней *версте*: сверстник — ваш однолесток и тем самым ровня вам, он как бы подверстан под вас.

Вот и все, что удалось нам собрать в современном языке. Но раскройте словарь В. И. Даля, в котором собраны лексические богатства русского языка прошлого века,



и вы обнаружите массу значений этого слова, сохранившихся до недавнего времени в русском языке или по крайней мере в некоторых его говорах. Вот такие значения: 'ряд, порядок, прямая линия'; 'ровня, дружок, пара, чета'; 'одной масти'; 'верзила, болван'. В старых текстах, пришедших из того времени, когда некоторые из этих значений еще были живыми в языке, а также в пословицах

сохранились многие старые значения слова. Они также приведены в словаре В. И. Даля. «От млады *версты* возлюби ближних своих» — значит 'с юности, с молодого возраста'. О сверстнике и товарище древний автор пишет: «*верста* дивная, Иванъ славный». «Стар добре, да не ровня мне, *не под версту*» — так поет девушка в народной песне, выходя замуж за старика... И т. д.

Выстраивая все значения в последовательный ряд, мы получим внешний очерк истории слова. Вот каким образом сделал это русский языковед А. А. Потебня сто лет назад.

Прежде всего он восстановил исконную форму слова и затем определил его первичное значение (т. е. дал этимологию слова). *Верста* — слово с тем же суффиксом, что и слова *ловитва*, *битва* или *бритва*, и сначала произносилось подобно этим последним: *верт-тва*. Позднее произошло звуковое упрощение в этом трудном для произношения слове: *верства*, затем *верста*.

Славянское слово *верста* родственно литовскому *варстас*, оно и значило то же самое, именно 'поворот (плуга)', 'длина борозды, проводя которую плуг поворачивают обратно', 'мера расстояния', 'мера поля'. Как видим, уже тогда, в древнюю эпоху, это слово было многозначным. И каждое из его значений развивалось по-своему.

Из значения 'поворот плуга' появилось значение 'борозда', которое до сих пор сохраняется, например, в сербском слове *врста*.

От значения 'борозда' недалеко до значений 'прямая линия', 'ряд предметов, стоящих на одной прямой линии'. И действительно, в русских диалектах *верста* значит 'ряд, прямая линия' (у Даля: *прогнать версту* — 'сшить, связать, соединить по нитке'), отсюда же и сербское значение слова *врста* 'класс, сословие'.

Затем, много позже, от значения борозды как идущей рядом с другою бороздой и равной ей возникает значение 'пара, ровня': Древнерусские князья Борис и Глеб, сыновья Владимира Красно Солнышко, злодейски убитые родным братом, вовсе не были сверстниками, Глеб родился на много лет позже Бориса и в княжеской иерархии занимал самое последнее место. Тем не менее в древнерусской литературе их называли не иначе, как *светозарная верста* — пара, равная в своей смерти.

Из значения 'длина борозды' с течением времени выросло новое, переносное, указывающее на меру расстояния; *верста* в разных местах различна, но всегда достаточно большая, она включает 500, 700 или 1000 самых различных по длине сажен.

От значения 'длина борозды' пошли и русские *верста* 'верстовой столб' и *верста* 'верзила', т. е. просто 'столб'. Впоследствии, когда в сознании людей совместились представления длины пути и жизненного пути, отсюда же возникло и значение 'возраст' (ср. *от юны версты*), сохраненное в слове *сверстник*.

Так постепенно расходились значения одного и того же слова. Некоторые остались в каких-то славянских языках или говорах, а другие исчезли вовсе. В древнерусском языке одновременно использовалось сразу несколько значений слова, основное и второстепенные; в то время слово *верста* было многозначно. Впоследствии некоторые значения слова, менее важные, устранились, их заменили другие, самостоятельные слова. Так наше слово стало однозначным и определенным термином (например, в литературном языке XIX века). Наконец, сама жизнь властно вмешалась в судьбу этого слова: изменение системы мер, переход счета на километры привели к полному устранению старого слова из русского языка. Только в стихах или в пословицах мы нет-нет да и вспомним его.

Вот так и случается со словом, первоначально ярким и образным: сначала оно расцвело целым букетом значений, поэтических и выразительных, потом от частого употреб-

ления художественный образ превратился в штамп речи, затем слово стало термином, а со временем этот термин перестал быть нужным и бесследно исчез.

Основным в истории каждого отдельного слова является постепенное и неуклонное уточнение его значения, его смысла. В своих изменениях старое слово похоже на медную монету: как монета постепенно теряет свой первоначальный глянец, так и слово последовательно утрачивает одно за другим все второстепенные, добавочные или случайные значения (некоторые из них снова и снова возникают в речи, но каждый раз все снова и снова устраниваются).

И если вы поняли, каким образом происходят такие изменения, вы легко осознаете их суть. Мы все снова и снова возвращаемся к самому важному, внутреннему противоречию. Противоречию между общим для всех языком и нашей речью, каждодневной, обычной, такой знакомой и понятной. Сердцевина слова, его собственное, внутреннее или, как говорят, системное значение — это факт языка. Но на этот остов каждый день и в разных ситуациях неустанно наслаиваются все новые и новые, похожие, подобные, переносные, поэтические, выразительные оттенки все того же основного значения. И это уже факт нашей речи.

Рассмотрим еще несколько слов. Они также интересны тем, что к нашему времени изменились очень существенно, можно проследить извилистый путь их движения во времени.

Село — это теперешнее обозначение деревенского поселения (кстати, а почему бы не сказать: «Село — это теперешнее *сельское поселение*»?). В древних текстах, переведенных создателями славянской письменности Кириллом и Мефодием, это слово выступало еще в общем своем значении 'поле', 'то, что не лес'. Поэтому выражение *сельная трава* вполне возможно в текстах той далекой поры (IX век!), и обозначало оно полевую траву.

В более поздних текстах, например в переводах XII века, *село* обозначало уже не поле вообще, а только запаханную часть поля, пашню. В таких переводах *село* и соответствует латинскому слову *ager*, знакомому вам по теперешним *агро-ном*, *агри-культура* или *агра-рный*. Происходит сужение значения слова, оно связано с развитием хлебопашества, с необходимостью специальным словом, общим

для всех, выделить полезную для хозяйства часть поля.

Но тут же, в одно и то же время, в одном и том же тексте, в переводе с латинского языка вдруг возникают и другие значения слова. Вот большая рукопись на пергаменте, написанная русским писцом в XII веке. В разных текстах, которые входят в эту рукопись, мы находим вот что.

Во-первых, *село* — это 'пашня'; здесь говорится, что *селом* *только* *земельное* *имение* *окажется*, 'селом называется только земельное владение'.

Однако село — это пашня целой сельской общины. Это общий капитал всех людей, которые входят в общину, их средство к существованию, вопрос жизни и смерти целого коллектива. Но вот владельцем земли становится какой-то один член прежнего рода — феодал. И поэтому в переводе XII века (а в это время на Руси уже вполне развитое феодальное государство) *село* соответствует не только латинскому *ager*, но и латинскому *villa*. *Villa* вы тоже очень легко переведете без помощи словаря — вилла 'дача, поместье'. Переводчик XII века пишет: *один* (из вассалов) *просит села*, а *другой просит одежды* — 'одному нужно поместье, а другому украшения'. Так социальные условия сельской жизни еще раз сузили значение старого слова.

Итак, во-вторых, *село* — это 'поместье', т. е. по-прежнему это пашня, но теперь она принадлежит только одному лицу.

А если это так, если поместье обозначается словом *село*, почему только одна пашня должна быть связана с данным словом? Ведь поместье включало в себя и дом. Дом — более постоянная характеристика поместья, чем пашня: в доме живут все время, а пашня связана с сезонными работами.

Вот почему, в-третьих, в том же переводе мы читаем и следующее место: (*Ты*) *на солнце наложи село свое и,*



как жених, выходящий из чертога своего, выйди к нам; в этом тексте *село* соответствует уже латинскому слову *tabernaculum* 'палатка, шатер', а сам текст обозначает: 'Помести солнце в свой шатер'. Действительно, слово *село* стало также обозначать 'дом, жилье вообще'.

Но поскольку один феодал никогда не селился, его всегда сопровождали отроки, дружинники и прочая челядь, следовательно, и дом был не один — так *село* стало нынешним *селом*: 'поселением сельского типа'. Такое значение слова известно уже и нашему переводу в рукописи XII века. Смотрите: *Се опустели гради и развращена селница*, т. е. 'Вот опустели города и разрушены села' (в буквальном переводе — 'разворочены'). *Село* в этом тексте противопоставлено *городу*: *город* — укрепленное поселение (этим словом переведено латинское слово *castrum*), *село* — не укрепленное. Только это последнее значение слова и сохранилось в русском языке. *Село* постепенно совпало в своем значении с другим столь же древним словом — *деревня*.

В одной местности предпочитали слово *село*, в другой — *деревня*. На севере, например, *село* вплоть до XV века обозначало 'поместье, владение', поэтому выражение *село земли* здесь было вполне обычным и не вызывало удивления. И только много позже, в связи с распространением на севере власти московских царей, слово *село* сменилось новым, московским словом *деревня* с тем же самым значением 'поместье'. В современном значении 'многодворное крестьянское поселение' *деревня* появилась на севере не более двух веков назад, когда сами многодворные поселения стали там обычным явлением.

Так оказывается, что «старые» слова *село* и *деревня* в современном значении существуют не так уж и давно.

Чаще всего история слов связана только с изменением их значения: слово звучит по-прежнему, а означает совсем не то, что прежде. Проследить подобные изменения бывает трудно: то текстов недостаточно, то тексты двусмысленны. На помощь приходят сопоставления с родственными языками, современными и древними, а также те слова, которые сохранились в диалектной речи. Мы уже не раз убедились в том, что диалектная речь способна сохранять древнее значение слова. Здесь я хотел бы рассказать вам о том, как замечательный советский лингвист Б. А. Ларин в одной из своих работ рассматривает исто-

рию слова *буй*. Проследим за его рассуждением со старыми текстами в руках.

Первоначальное значение слова *буй* — ‘высокий, большой, неистовый’. Таким оно предстает во всех родственных славянских языках, начиная с самых древних. Это и прилагательное, и существительное вместе; для тех отдаленных времен, к которым относится данное значение корня, прилагательное и существительное — еще одно и то же. И предмет, и его качество казались древним людям одним и тем же. В «Слове о полку Игореве» мы находим пример этого. *Буй тур Всеволод* — *буй* здесь можно передать и прилагательным, и существительным: и ‘буйный тур’, и ‘буян тур’. И вот, когда из числа имен стали выделяться имена прилагательные, *буй*, подобно многим древним именам, расслоился на имя существительное и на имя прилагательное. С одной стороны, ‘буйный’, с другой — ‘буян’.

Существительное *буй* сначала обозначало ‘высокий холм, горку, на которой обычно располагались церкви с оградой вокруг них и небольшим кладбищем’. И вслед за изменением реального назначения такой высокой горки возле деревни в этом именно направлении постепенно изменялось значение слова. *Буй* — ‘высокий холм, видный отовсюду’ → ‘церковь на высоком холме’ → ‘огороженный участок на высоком холме’ → ‘деревенское кладбище на холме’. В последнем значении *буй* еще и теперь встречается в некоторых старых русских говорах.

С прилагательным же произошла другая история. Прилагательные ведь прилагаются к самым разным предметам и лицам, идут с ними об руку и изменяются вместе с ними. И вот что произошло.

Буй тур Всеволод в XII веке — это ‘высокий, большой, неистовый’ человек. В то же время появляется и добавочное значение слова: не просто ‘неистовый’, но и ‘гордый’ (в хорошем смысле слова) человек. В том же «Слове о полку Игореве» у некоторых его героев *сердца в буести закалены*, — ‘гордые и свободолюбивые’. Пока все хорошо, и только хорошо.

Но ведь в самом значении ‘гордый’ имеется внутреннее противоречие: гордый заносчив. Неистовый — неистов во всем. Так изменяется оценка гордости в слове *буй*, и уже с XIII века мы получаем неодобрительные свидетельства о лицах, которые *паче меры гордели и буяли*,

т. е. сверх меры гордились и... ну, скажем, буйли. Новое значение слова долго существовало наряду со старым, потому что старое и новое фактически пока не пересекались. Одно из них имеет положительный оттенок и годится для хорошего человека. Другое имеет неодобрительное значение. Разница чисто стилистическая, нечеткая какая-то разница. Слово-перевертыш: и так и эдак годится.

Подобных слов-перевертышей много в древнем лексиконе. Напомню еще слово — *победа*. Странное дело: в корне — *беда*, а в целом слово означает благополучное ее завершение. В древнерусском языке это слово значило просто последствия общей для многих людей беды, результат сражения безотносительно к победе над врагом; победу праздновал и победитель, и оставшийся в живых побежденный. Победа приходила по беде, за бедой. И только со временем это слово закрепилось в одном из своих значений, либо в смысле поражения на поле брани (так случилось в юго-западных говорах Древней Руси), либо в смысле победы на поле брани (так случилось в северо-восточных говорах, и в этом значении слово сохранилось до наших дней в литературном русском языке).

В случае с *буй* дело иное, тут различие сугубо стилистическое, хотя и оно в известной мере зависит от точки зрения: сам себя ты считаешь гордым, а в глазах других — ты гордец. И после XV века остается только неодобрительный оттенок значения. Поскольку теперь уже ничего хорошего слово не обозначает, сразу же старое слово получает новое, совершенно конкретное значение; 'неистовый и гордый' становится 'безумным'. А уж если безумным, значит, сумасшедшим. Как только слово-прилагательное сужает свое значение, становится однозначным и определенным, оно сразу же стремится стать существительным, потому что теперь оно обозначает существенную характеристику лица. Вот вам рассказ из римской истории в переложении древнерусского книжника (по списку XVI века): *Вруть же сынъ Мариевъ видѣвъ отчѣе неправедное заклание, сотворися буй... ежесть буйна ережень умом*. Это значит: 'Сын Мария Брут, увидев незаконное убийство своего отца, стал буйным, потому что буйный — это поврежденный в уме, сумасшедший'. Уже в тексте содержится пояснение, которое не оставляет сомнений в значении слова: *буй* — 'тот, кто ведет себя буй-

но'. Медленно отслаивается от общего имени новое существительное, одновременно ограничиваясь одним значением — 'сумасшедший'. Прилагательное еще многозначно, особенно в соединении с суффиксом, ведь словом *буйный* и в наше время можно выразить и восхищение, и возмущение.

Существительное же закончило свои изменения еще одним поворотом. В словаре начала XVIII века слово *буй* объясняется как 'дурак'. В чем смысл этого нового поворота? Перед нами использование одного слова для замены другого, не совсем приличного в обществе. Не всегда есть возможность для категорического утверждения: «Он — дурак» — гораздо приличнее сказать: «Он — буй». Ученые такие слова называют эвфемизмами (от греческого словосочетания, которое буквально значит: 'говорю прилично'). В светском обществе петровского времени и стали дурака называть буем. Но уж если слово спустилось на уровень эвфемизма — дело плохо. Стоило только дураку догадаться, что *буй* — значит 'дурак' — и тотчас слово исчезло. Ведь теперь за этим словом нельзя спрятать свое отношение к дураку. Этот критический момент истории слова Б. А. Ларин не случайно заключает словами: «Эвфемизм завершает историю слова». Осталась пустая форма без всякого смысла. «Пфу!» — и нет ее.

Мы проследили историю нескольких слов. Представьте же себе весь русский словарь — около ста тысяч слов в литературном языке и почти четверть миллиона слов по всем русским говорам! И каждое из них на своем месте, т. е. в определенном говоре, в языке известного литературного персонажа, в нашей с вами речи, соединяясь с другими словами и отражая тем самым какое-то конкретное жизненное обстоятельство, ежеминутно видоизменяется, оставаясь тем не менее все тем же словом! Для нас с вами сегодня, в наше время, то или иное слово, сколько бы раз его ни употребляли, — все то же самое слово, иначе мы просто не поняли бы друг друга в разговоре. И только сравнив употребление этого слова в наши дни и столетия назад, мы видим, что изменилось его значение или оно само изменилось (редко встречается, не всем понятно, стало архаичным).

Развитие значений, как мы видели, идет от простого к сложному и от сложного к простому, от конкретного к абстрактному и, наоборот, от абстрактного к конкрет-



ному. Перенесение значения происходит по многим признакам: по общности функции — ножки стола так же держат стол, как ребенка, начинающего ходить, держат его ножки; по сходству — голова человека и глава (первоначально только в значении 'заголовок') книги.

От многих причин и побочных обстоятельств зависит изменение слов или их значений: и от

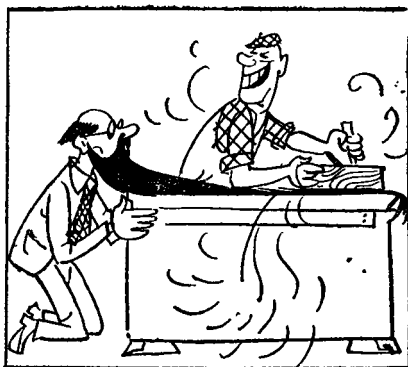
перемен в жизни людей, и от развития самой лексической системы языка, даже от произношения тех или иных слов. Вот пример.

Роз древние русичи не разводили, но дикую розу, цвет шиповника они называли *лепком*. *Лепок* — 'лепый, красивый цветок'. С появлением роз стало употребляться и их иноземное название, сначала в той форме, в какой ее слышали русские. Услышали же они о розе от поляков, которые этот цветок называют *ружа*, похоже на *рожа*. Так с XV века в русских рукописях появляется *рожа*: *Венчает нас рожамы прежде нежели согниют; Он лицемъ красенъ рожанъ*. С нашей точки зрения, тексты несколько странные: *венчают рожамы, лицом красив и рожен*. Все перепуталось. А перепуталось оттого, что разные по значению слова стали произноситься одинаково.

В первой цитате речь идет о розах. А во второй употреблено старинное русское слово *рожен*, которое до сих пор сохраняется в диалектах. Оно происходит от знакомого вам корня *-род-* и обозначает видного, осанистого, солидного человека. Что такое *красный*, мы уже знаем; следовательно, приведенное предложение нужно понимать так: герой рассказа лицом красив и осанист. Слово *рожа* в значении 'морда' — близкий родственник слова *рожен*. В современном русском языке оно получило просторечный, разговорный характер. Однако еще тогда, когда оно было в полной силе, столкновение с ним изящной польской *рожи* оказалось не совсем желательным, поэтому в рус-

ский язык и вошло другое, заимствованное из немецкого языка название цветка — *роза*.

В других случаях звучание слова остается таким же, как столетия назад, а значение изменяется, приобретает новые оттенки, теряет старые. У средневекового писателя читаем: «...еже *стругати* бороды...» Казалось бы, очень



выразительно и даже зловеще, а на самом деле очень точное и обыденное описание, потому что в древности бороды не брили и не стригли, а именно строгали, скоблили. Разность же здесь достигается за счет многозначности использованного слова. *Стругать* в те далекие времена — это и гладить, и скользить, и вычищать, и скоблить, и истязать. Чаще всего последнее — ‘истязать’. И если автор вместо *резати бороды* сказал *стругати бороды* — он вкладывал в это тот же оттенок сострадания к несчастному брадоносцу, что и мы теперь, встречая это слово в древнем тексте. Не просто бриться, но и испытывать от этого физическое страдание. В наше время у глагола *строгать*, или *стругать*, осталось значение ‘снимать стружку’. Уже у Некрасова только такое значение этого слова: «...ребята за дело — пилить и *строгать!*»

Необыкновенные изменения слов происходят иногда в процессе словообразования. Коротенькие слова часто становятся маловыразительными, по мере того как в языке накапливаются производные от них длинные слова. Где теперь когда-то широко распространенные *коло*, *кус*, *пал*, *руб*, *руг*, *соп* и другие древние и прежде яркие слова? Нет, сохраниться-то они сохранились, но обычно с каким-нибудь суффиксом: *колесо*, *кусок*, *палец*, *рубище*, *ругань*, *сопка*... Именно те понятия, которые когда-то передавались простыми корневыми словами, теперь обозначаются перечисленными удлинившимися словами. Этому предшествовало бурное развитие семьи слов. Когда вместо одного *кус* по разным причинам и для разных целей в языке выстроился целый ряд: *кусок*, *кусание*, *кусище*, *кусака*, *кусачки*,

кусала, кусковой, кусочник, закуска и масса других слов, когда это случилось, самому родоначальнику, слову *кус*, неуютно стало в словаре. И оно все быстрее уходит из нашей активной речи. *Кус* стал простым вариантом слова *кусок*. Ясно, что ему долго не выжить, слишком энергичный у него появился конкурент. У *куса* осталось одно только поле деятельности, стилистическое. В самом деле, *кус* — то же, что и *кусок*, но посолоннее и употребляется в ограниченном числе сочетаний, не со всяким словом.

А ведь в приведенном списке корневых слов — это единственное, которое мы нет-нет да вспомним. *Соп* и *руг*, например, вы в первый раз встречаете. Не так ли?

Что ж, обычное в истории дело: родители уходят, дети остаются. Да ведь какое густое и бодрое поколение! От шести старых корней пошло почти две сотни новых слов с самыми разветвленными оттенками значения.

Но самые удивительные истории происходят со словами, которые по своему происхождению являются звукоподражательными. Мы видели, как скупа цветовая гамма в «Слове о полку Игореве». Зато произведение перенасыщено звуками: здесь все поет, издает звуки, высказывается и волнуется. Струны *рокочут* славу, колокола *звонят*, земля *стонет*, *стучит* и *кличет*, трава *шумит*, слава *звонит*, трубы *трубят*, матери *плачут*, пахари *кикахуть*, люди и телеги *кричат* (сравните: люди просто *кричат*, а языческие божества Див, Карна, Жля — *кличут*); дальше: воины *свистят*, стяги *глаголют*, копыя *поют* и *трещат*, сабли и мечи *гремят*. Каждая птица и каждое животное имеют свой собственный голос в этом оркестре. Туры *рыкают*, кони *ржут*, лисицы *брешут*, орлы *клекочут*, соловьи *щекочут*, вороны *грают*, галки *речь говорят*, сороки *стрекочут*, дятлы *текчут*... А здесь ведь еще и не все представители тогдашней фауны. Вот из других текстов: «несть *рерления* орла», «коза нача *блекотати*», «свинья, питаюсь, *кротит*, кошка же, ядуши, *ружит*». Каждое животное имеет свой голос.

Пожалуй, половина этих слов вам незнакома. Ну, например, почему кошка *ружит*, а свинья *кротит*? Мы сказали бы *мяучит* (или мурлычет) и *хрюкает*. По-видимому, наши предки иначе воспринимали эти знаки свинячьего и кошачьего удовольствия.

Известно, что в древнерусском языке обычное значение глагола *кротить* — ‘уक्रошать, успокаивать’. А в нашем

тексте *кротит* — 'издает успокоенный, негромкий, с перерывами звук'. Слово *ружит* вообще непонятно: оно когда-то значило 'смеяться над кем-нибудь', 'поднимать на смех'. Что-то тут не так, но одно ясно: приведенные слова либо звукоподражательны, либо здесь использовано случайное, неожиданное, переносное значение слова. Связь звучания с его конкретным значением неустойчива и потому утрачивается. Где тонко, там и рвется. А особенно тонко там, где слово оказывается одиноким, находится вне окружения родственных слов, где оно и возникает-то как передразнивание, подражание бессмысленным звучаниям природы.

Не только природы. Что такое *лампопо*? Не река *Лимпопо*, воспетая Корнеем Чуковским, а *лампопо*. Русское слово, не заимствованное, но ведь странное какое-то. У писателя Лескова описан такой разговор:

«— Что это за ланпопо? — спросил Ахилла.

— Не ланпопо, а лампопо — напиток такой из пива и меду делается».

Попробуем слово это произнести несколько раз подряд и быстро: *по-лам-по... ам-по-пол... по-лам-по... попо-лам!* *Лампопо* — точное соответствие английскому *фифти-фифти* — 'пятьдесят на пятьдесят'. Это шутовское слово пришло из языка гусар и картежников, одно время быстро распространилось и стало обозначать самодельные крепкие напитки: холодное пиво с лимоном, с медом. В слове этом не просто звуки переставлены, здесь и все морфемы перепутались — кусок корня с суффиксом стал первой частью слова, а приставка и начало корня — второй: *лам-по-по* и *по-пол-ам*. Утрачен морфологический состав слова, вернее, его попросту нет. Никаких ассоциаций с известными нам корнями и суффиксами, ничего похожего на русский язык. В лексиконе появляется новое слово, но так как в системе языка оно случайно, его дни сразу сочтены. Подобных слов мы можем придумать сколько угодно, но они и останутся с нами, потому что один человек языка не создаст.

Рассказ седьмой,

СВЯЗАННЫЙ С ХЛОПОТАМИ И ЗЛОБОЙ, А ТАКЖЕ С ВОПРОСОМ О ТОМ, ОТКУДА ПОЯВЛЯЮТСЯ «ИДИОТИЗМЫ»

Идиотизмами раньше называли идиомы.

А потом термин показался неприличным, и его заменили другим:

В устаревшем названии неразложимых сочетаний слов нет никакого намека на то, что многочисленные выражения типа *ничтоже сумняшеся, ни в зуб ногой, с боку припека, бить баклуши* придуманы людьми, умственно неполноценными. Нет, просто это неудачная передача греческого слова с корнем *idios* (что значит 'свой, собственный'), в греческой же форме *idiotés* — 'индивидуальная особенность' чего-то, в данном случае речи. Заменяли его тоже греческим *idioma*, что значит то же самое: 'своеобразное выражение речи'. Такое колебание между словами *идиотизм* и *идиома* только один из примеров того, что и термины, самые точные и определенные слова нашего языка, устанавливаются не сразу, а как бы постепенно подбираются, подчищаются, подлаживаются.

Подобных идиом, которые иногда называются другим иностранным словом — *фразеологизм*¹, много в нашей речи, и чем образованнее человек, тем больше у него в запасе таких образных и точных языковых штампов.

Если рассмотреть типы таких сочетаний, окажется, что все они представляют собой своеобразную последователь-

¹ Тоже заимствовано из греческого: *frasis* — 'выражение' и *logos* — 'учение'; 'учение о выражениях'. Это уж искусственно созданный научный термин.

ность с точки зрения законченности, отточности мысли и ее выражения.

На первом месте стоят простые сочетания, очень похожие на обычные синтаксические сочетания двух слов. *Железная лопата* — это 'лопата из железа'. А *железная дорога*? 'Дорога из железа'? Нет. Это слитное сочетание определенно обозначает какое-то одно понятие. Такие сочетания слов называют **фразеологическими сочетаниями**.



Гораздо теснее связаны друг с другом слова в **фразеологическом сочетании**. Это уже не просто сочетание, это именно приросшие друг к другу слова, которые только в сочетании друг с другом и дают определенное значение, свой особый смысл. Что значит *намылить голову*?

Я намылил голову над тазом.

За это я намылил голову (или шею) кому следует.

Разное мыло!

В первом случае — обычное свободное сочетание глагола и имени существительного. Любое слово такого сочетания можно заменить другим: *Я намылил спину*, потом *я намылил шею*. Или наоборот: *Я вымыл голову*, *я испачкал голову*, *я перевязал голову*, *я поднял голову*. А вот во втором предложении такой операции не произведешь: изменится весь смысл. Однако чувствуете, как выразительна замена: *намылить голову* вместо *сделать выговор*? Смысл тот же, а насколько красочнее!

И наконец, третий тип фразеологизмов, **фразеологические единства**. Ни один член этих сочетаний не употребляется самостоятельно в том же самом или в аналогичном значении. *Ничтоже сумняшеся* 'не раздумывая' — фразеологическое единство, потому что оно состоит из двух форм, теперь утраченных в русском языке. Как бы вы ни употребляли эти слова само-

стоятельно, отдельно от другого, определенного смысла вы не получите, его нет. Этот тип фразеологизмов и есть собственно и д и о м ы.

И если все эти три типа фразеологизмов выстроить в ряд, в той последовательности, в какой мы их только что рассмотрели, окажется, что они как бы отражают разные ступени перехода от свободного сочетания к абсолютной идиоме: постепенно утрачивают связи с другими словами языка, замыкаясь сами в себе (а это ведь и есть собственно значение слова *идиома*), получая характерное для них переносное, ярко образное значение. Только вся идиома целиком может быть заменена отдельным словом с тем же значением (синонимом), сравните: *ничтоже сумняшеся — не раздумывая*.

Как же рождаются идиомы, каким образом простое сочетание слов превращается в цельную смысловую единицу, неразложимую, воспринимаемую как одно слово?

Рассмотрим этот процесс на каком-нибудь примере, на каком-нибудь простом сочетании, вам хорошо известном. Ну, вот: *хлопот полон рот*.

Вряд ли в вашей жизни не было случая употребить это сочетание, и вы прекрасно знаете, что оно значит: 'множество забот'. Помните Мартышку из басни? «Хлопот Мартышке полон рот». Поэт не стал писать «много забот у Мартышки». Заметьте также: не говорится просто «забот полон рот», «работы полон рот», а обязательно: «хлопот полон рот». Правда, иногда можно услышать и такое искажение старой идиомы в сочетании со словами *работа* или *забота*. Но это уже новое переосмысление устойчивого сочетания, приближение его к своему пониманию. Мало ли — может быть, человек не понимает значения слова *хлопоты*.

А вы понимаете? Кажется, да. Хлопоты — это и есть заботы, всякое беспокойство по поводу этих забот. И ничего удивительного, что иногда эти слова могут смешивать.

Так ли? Не совсем. Даже современный человек, чуткий к языку, чувствует разницу между этими двумя словами: не всякая забота хлопотлива. Хлопоты — это именно постоянная возня по поводу какого-то предпринимаемого дела, связанное с ним беспокойство. Это не одно какое-то дело, большое и значительное, а целая серия действий, которые постоянно повторяются и связаны с разговорами, обсуждениями и, конечно, с препирательствами. Еще

недавно одним из значений слова *хлопоты* было 'брань, ссора'. Не мудрено и поссориться с кем-нибудь, когда навалится много каких-то хлопот; обратите внимание, что слово это теперь никогда не употребляется в единственном числе.

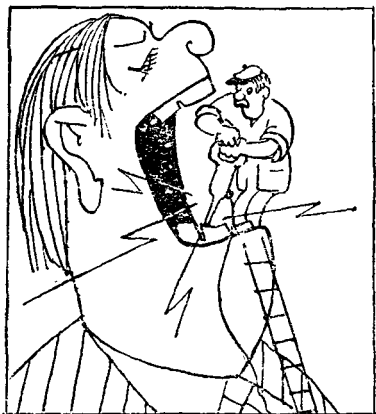
Кажется, дело проясняется. *Хлопот полон рот* — это значит 'ссора полон рот'?

Не будем спешить. Посмотрим сначала, имеется ли это слово в других славянских языках и в русских народных говорах. Оказывается, имеется, но только произносится иначе: не *хлопоты*, а *клопоты*. В русских говорах и глагол от него есть: *клопотать* — равный нашему литературному *хлопотать* 'исполнять какую-то работу, но при этом суетиться, шуметь'. В украинском, болгарском, сербском, словенском, чешском, польском также есть похожие слова с начальным *к*. Более того, именно такова форма соответствующего слова в ближайшем к славянским литовском языке. Таким образом, русское литературное слово *хлопоты* стоит довольно одиноко, хотя оно и встречается в памятниках начиная с XII века. Замена звука *х* на *к* и наоборот обычна в начале русских слов перед согласными *р* или *л*, сравните: *крестьянин* из *христианин*, *клобук* и *нахлобучить*, *крупн* и *хрупкий*. Тем не менее до XVI века употребляли все-таки наиболее древнюю форму нашего корня: *клопоты*. Например, в сборнике 1076 года, написанном для киевского князя Святослава, находим такое выражение: *шум и клопот уши наполняет*.

Очень интересно. *Клопот*, оказывается, в чем-то равен *шуму*, но все же от него отличается. Чем?

В древних текстах можно найти разгадку. С начальным *х* слово впервые встречается в одном из памятников XII века в такой фразе: *И се слышаша глас хлопота в пещере от множества бесов*. По сочетанию со словом *глас* ('голос') можно думать, что *клопот*, он же *хлопот*, — это беспорядочный шум, издаваемый множеством говорящих. Они говорят все вместе и враз, и притом их много.

Клопот — это шум голосов. Но он связан с какой-то озабоченностью, волнением. Это ясно и из другого фразеологизма, теперь утраченного, но хорошо известного еще в прошлом веке: *держат в хлопочках*, т. е. оберегать от всего, главным образом от всяких неприятностей и сомнений.



Пожалуй, исконное значение этого слова прекрасно иллюстрирует суматошливая наездка, которая бессмысленно суетится вокруг своих бесшабашных цыплят. *Хлопоты*, скажем так, — это 'устройство дел и преодоление трудностей посредством кудахтанья'.

С этим же словом связаны и другие, родственные ему, например *клепать* 'бить, ковать', от которого произошло наше *поклеп*.

Итак, 'ссор полон рот', 'шума полон рот' — исконное значение нашего сочетания? Вполне возможно. Однако как же далеко отошло наше понимание этого выражения от исконного! Для нас здесь важно следующее: исконное значение нашей идиомы легко объяснить, ведь всякому ясно, что держать заботу во рту нельзя, а иметь полный рот всяких выражений, подходящих к случаю, — очень даже можно.

Но и это не все. По счастливой случайности в одном сборнике XVII века сохранилась полная форма нашего высказывания: *Хлопот полон рот, а перекусить нечево*. Замечательно и образно сказано, что-то вроде: «Полный рот брани, а не съешь!»

Только что выложенную перед вами цепочку фактов можно перевернуть и посмотреть на нее с другой стороны, т. е. с начала.

В самом начале перед нами — обычное предложение, всем понятное, хотя, как и всякое образное выражение, оно содержит в себе какой-то подтекст, в данном случае очень даже ядовитый.

Потом в языке исчезает или изменяет свое значение какое-то слово. В нашем случае это связано с изменением в значении слова *хлопоты*. Это приводит, с одной стороны, к некоторому изменению в значении всего сочетания, а с другой (и это важнее) — в смысловом отношении обогащает его, создает метафору, которая из поэтической находки одного человека становится всеобщим достоянием

и, как разменная монета, идет по свету. Это образное выражение — поговорка, в которой скрыт намек на очень многие ситуации, а не только на частную болтовню какого-то одного говоруна.

В частом употреблении сочетание утрачивает подробности, сохраняя лишь самые необходимые части, как правило, только начало формулы — умный человек поймет намек и сам сможет закончить начатое: *Хлопот полон рот, а перекусить нечего — Хлопот полон рот...* (а дальше ты и сам знаешь!). От частого употребления, как видите, стираются не только монеты.

Особенно непонятным становится первоначальный смысл таких фразеологизмов, если в составе старых сочетаний были какие-нибудь древние грамматические формы. Одну из них мы уже встретили выше: *ничтоже сумняшеся* — сочетание со старой формой прошедшего времени, которая не сохранилась в русском языке.

Так постепенно от живого предложения (синтаксической единицы) мы дошли до малопонятного, неразложимого сочетания с определенным и всегда одним и тем же значением (лексическая единица). Предложение стало равно слову.

Таких примеров много. Мы, употребляя теперь подобные фразеологические сочетания, попросту пользуемся теми увесистыми штампами, которые выбили для нас наши далекие предки. И со своей стороны мы сами сейчас готовим для наших потомков новые штампы такого же рода. Правда, сами мы этого не сознаем. И хотелось бы надеяться, что не одними канцелярскими штампами обогатим мы речь последующих поколений.

В некоторых случаях слова, составляющие предложение, настолько разошлись в своем лексическом и грамматическом значении, что исконный смысл выражения совершенно утратился. Когда мы слышим такое выражение, нам приходится вкладывать в него знакомые значения слова, «досочинять» его смысл. Иначе не поймешь, о чем речь. А если и поймешь, то — неверно.

Вот вам выражение: *сказка про белого бычка...*

Слово *сказка* еще и в XVIII веке значило не то, что теперь. Уменьшительный суффикс *-к-* (как в *рыбка*, *березка*) образовывал его от слова *сказ*.

Сказ — 'рассказ, подробное повествование', а *сказка* — это 'короткий рассказ', т. е. отчет, сжатый результат или,

как говорят люди ученые, *резюме*¹ какого-то дела, исследования, открытия. И сказ, и сказка всегда рассказ о реальных, действительных событиях. Эти слова связаны с корнем *-каз-*, который имел значение 'доказательство, обоснование, объяснение'. *Съказати* — 'растолковать что-то непонятное, неизвестное, но тем не менее реально существующее'. Сказками, например, сибирские первопроходцы XVII века называли отчеты о своих походах, ср.: *Скаска Володимира Отласова о землях...* Современное значение это слово получило довольно поздно, к концу XVII века, и сразу по нескольким причинам (они сложны, и мы не будем их излагать).

Сказка про белого бычка — бесконечное повторение одного и того же с самого начала, неустанное возвращение к одному и тому же. Иногда говорят: «сказка о белом бычке». Но даже если вы и допустили смешение предлогов *о* и *про* — ничего страшного. Такое смешение обычно в нашей повседневной речи. Даже очень образованные люди говорят: «Я рассказал *про* это им...» Вполне допустимая разговорная форма, хотя в некоторых выражениях и сохранилось еще исконное значение *про*, равное 'для, ради'. Сравните: «Этот квас не *про* вас». А в русских памятниках допушкинской эпохи *про* употребляется только в этом старом значении, т. е. 'для, ради'. *Насолити про гость* — значит не 'насолить о гостях' или 'насолить гостям'. В Домострое, откуда извлечено это сочетание слов, речь идет о засолке грибов; так вот, *для* гостей надо засаливать самые лучшие.

На наших глазах изменяется исконное значение слова. Мы еще можем понять его и как бы перевести на современный язык, но уже считаем устаревшим. Настанет время, и в предлоге *про* все будут видеть только значение *о*, совсем позабыв о (*про?*) старых его значениях — таких же, как у слов *ради* и *для*. Не удивительно, что и мы путаем все эти предлоги.

А ведь на самом-то деле сказка не *о* белом бычке, а *для* белого бычка.

И это меняет все дело.

Белый же бычок вовсе не представляет собой добродушного теленка на лугу с ромашками. Некоторые счи-

¹ Это слово, пришедшее к нам из французского языка, обозначает краткое изложение сути речи, статьи и т. п. или заключительный итог речи, доклада, научного сообщения.

тают, что этот поговорочный бычок и бычок из стада только родственники, а не одно и то же существо. Но чтобы это понять, нужно разобраться в нескольких родственных словах, которые теперь уже и не родственные.

Бык и бука. Родственники. *Бука* — от *букать*, от слова, которое во всех славянских языках значит 'мычать, реветь или издавать столь же громкие и неприятные звуки'. В русском языке чаще употребляется слово *бучать* — то же, что и *букать*. А *букой* грозили непослушным детям: кто-то кричит, ревет в лесу, страшный, невдомый, а ну как придет? Страшно.

Когда-то очень давно у славян был корень *-бук-* с долгим звуком *у*, который мог чередоваться с другими гласными: то с кратким *у* (и получалось: *бук*), то с сочетанием *оу* (и получалось: *б^{оу}к*). А потом произошли разные изменения звуков, и все значения, связанные с прежним корнем, разошлись в разные стороны. Разошлись вот так:

бук (с долгим *у*) стал родоначальником *быка*,

б^{оу}к развил в разных славянских языках много слов типа *букать* и *бучать*, а *бук* сохранился только в одном корне, и вы никогда не догадаетесь, в каком именно!

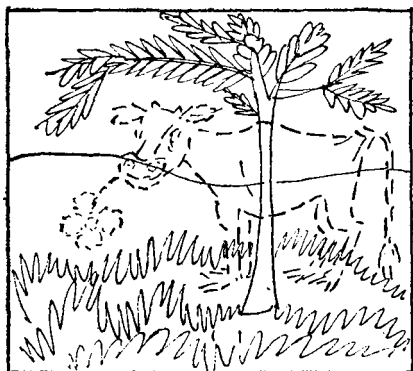
В слове *пчела* тот же корень, что и в слове *бык*. Восемь веков назад это слово и произносилось иначе: *б^учела* (а писалось так: *б^учела*). Писалось с той же буквой в корне, что и в слове *быкъ* в конце слова. В обоих случаях *ъ* (т. е. очень краткий звук *у*) утратился, и тогда получилось сочетание *бчела*. Очень неудобное сочетание, трудно произнести. Даже не пытайтесь правильно его произнести, ничего не получится.

Нужно было как-то упростить его: сделать либо оба согласные звонкими, либо оба глухими. Вот так: *б^джела* или *пчела*. И то и другое вполне удобно для произношения. Так и получилось: украинцы произносят теперь это слово *б^джоло*, а русские — *пчела*.

Сколько изменений понадобилось, чтобы мы окончательно потеряли связь *быка* с *пчелой* — а ведь похожи! Родичи. Упитанные и мычат, вернее, бучат. Издают густой низкий звук, непрерывный, угрожающий.

Ну, а что же с нашим бычком?

И наш бычок — не обязательно коровий сын. Это может быть какое-то очень даже маленькое существо, пускай и невидимое, но прекрасно слышимое, которое гудит над нами, вокруг нас и в нас самих и ради которого мы



неустанно должны сочинять сказки... Впрочем, нет, не сочинять — уж это-то мы с вами теперь знаем.

На то, что пословичный бычок, действительно, не коровий сын, указывает слово *белый*. Нет, наверное, бывают и белые бычки, я не спорю, но все дело в том, что, как вы помните, самым древним значением слова *белый* бы-

ло обозначение «бесцветного» цвета. *Белый* — невидимый, не имеющий цвета и контура.

Вот каков наш бычок — гудит себе в тумане, а видеть его нельзя. Сказочный бычок, который требует словесных жертв.

Так что же получилось? Из четырех слов нашего выражения ни одно не сохранило своего исконного значения! Все они изменили свой первоначальный смысл, и это привело к изменению сочетания в целом. Вы, например, вкладываете в него совсем другой смысл, чем я, а мы оба очень далеки от исконного значения этой идиомы. Предположительно она означала следующее: 'растолковать (нечто) незримо собеседнику'. Если уж и с реальным не всегда сговоришься, каково вести переговоры с неизвестным, неопределенным, невидимым собеседником!

Выразительность и образность идиомы с течением времени часто становились причиной ее утраты. Расскажу вам такую печальную историю.

Владимир Мономах, готовясь к смерти, — стар и немощен — в наставлении сыновьям повествует о своей жизни, подходящей к концу. Говоря об этом, он, естественно, избегает упоминаний о смерти. Это неприлично, на это слово наложено табу. Но вместе с тем он и говорит о смерти. Он употребляет выражение, хорошо понятное каждому его современнику: *сидя на санях, помыслил в душе своей...*

Сидя на санях. Дело в том, что на Руси с древнейших времен хоронили на санях, даже в летнюю пору: волоком,

руками тащили широкий полоз с умершим на холм, обкладывали любимыми при жизни вещами и сухим хворостом, опрыскивали горячей петушиной кровью — и сжигали. Языческий русич соединялся не с землей — он возвращался в огонь, к Солнцу. И вот эти-то сани стали символом смерти человека.

Хозяина леса также не смели когда-то называть его полным именем (каким именно — спорный вопрос) и придумали ему прозвище *медведь* 'поедающий мед'. Не смели назвать своим именем смерть, чтобы лишней раз не накликать беду, и только намекали на нее: *корноносая... лихое дело... сидя на санях...* Так родилась идиома, которая со временем получила более широкое значение. В XVI веке, когда старый похоронный обычай был уже позабыт, летописцы все еще говорили о воинских санях как о вполне вероятной возможности закончить свою жизнь в битве, в бою, т. е. преждевременно. Так и говорилось: *в санях и в воинстве*. Перед нами — сужение значения старой идиомы. Она употребляется уже только применительно к воину и вообще, может быть, к претерпевшим насильственную смерть.

Еще какое-то время прошло, и эта, первоначально с переносным значением, затем образная по существу, наконец, слишком узкая по своему значению, все более непонятная идиома совершенно бесследно ушла из языка.

Случилось это потому, что она не просто утратила свою образную силу и краткость выражения. Она утратила свой смысл.

Таким образом, идиомы — это, с одной стороны, как будто словосочетания и формально связаны с синтаксисом; с другой стороны, они в широком смысле слова, потому что словосочетания-идиомы по своему значению равны словам, всегда обозначая одно понятие. Все самостоятельные значения слов, составивших идиому, постепенно настолько «притерлись» друг к другу, столь многим друг перед другом поступились, что теперь и значения-то своего лишились, сами по себе ничего и не значат. Вот почему в идиомах, иногда только в них, так много встречается старых, теперь непонятных слов, а выбрось их — нет и идиомы.

Рассказ восьмой

ОБ ИВАНЕ АНТОНОВИЧЕ КУВШИННОЕ РЫЛО И ЕГО ПРЕДКАХ

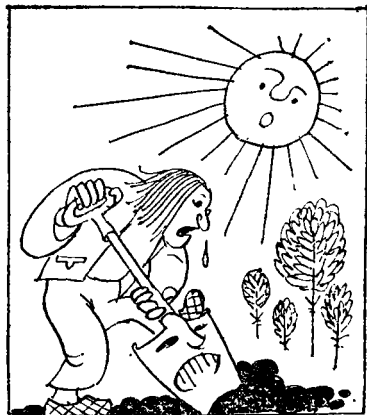
Одному из персонажей «Мертвых душ», взяточнику и казнокраду, Гоголь дает такую характеристику: «Иван Антонович, казалось, имел уже далеко за сорок лет, волос на нем был черный, густой; вся середина лица выступала у него вперед и пошла в нос,— словом, это было то лицо, которое называют в общежитье кувшинным рылом».

Вообще-то Гоголь сам бранных слов не употребляет. И вдруг — *рыло*. Слово, которое в современном словаре считается просторечным и даже бранным при обозначении человеческого лица. Однако на протяжении XIX века это значение слова не такая уж и редкость в литературном языке. Его употребляли Пушкин, Островский, Салтыков-Щедрин и другие писатели.

А вот в современной художественной литературе вы уж не встретите это слово во всей его красе: то ли совершенно неприличным стало, то ли грубее нашлись! Такова история этого слова в новейшей литературе.

Если же порыться в древних манускриптах, можно найти единственное и самое верное употребление этого слова, верное с точки зрения его происхождения. Например: ...повелел мниху (т. е. монаху) *ископати рылом сад*. В этом предложении *рыло* — ‘то, чем копают (роют) землю’: мотыга, лопата. Слово входит в целый ряд родственных имен среднего рода с суффиксом *-л-*, которые образованы от глагольных корней: *ры-л-о* — то, чем роют (от

глагола *рыть*), точно так же, как *кры-л-о* — то, чем покрывают (от *крыть*) или *соли-л-о* — то, чем солят или в чем солят. И т. д. Чтобы совсем быть точным, следует сказать, что и само значение корня *ры-ти* уже не совпадает с нашим литературным. Этот корень (*ры-рой*) родственен корню *рея-ти* и в свое время обозначал не 'копать' (например, углубляясь в почву), а 'выбрасывать', 'раз-



вейивать что-нибудь'. Другими словами, *рыть землю* — это 'не копать ее', а 'отбрасывать в процессе копания'. В северных говорах исконное значение слова сохранилось до сих пор, там говорят: *рой сено* 'бросай сено'. Или, обращаясь к ребенку, играющему в мячик: *Рой мячик*, т. е. 'брось его'.

Таково исконное значение слова *рыло* и единственное содержание его в течение длительного времени, до тех пор пока в языке разными способами и по разным причинам не появилось множества других слов с тем же значением ('орудие рытья'), но с более конкретным и частным употреблением. Появилось слово *лопата* для обозначения конкретного, хорошо вам знакомого орудия труда. Затем в словарь вошли слова *заступ*, *мотыга*, *кирка* и т. д., и только *рыло* по-прежнему могло обозначать все, чем роют.

Вот эта-то широта значения. и притом наряду с существованием других слов конкретного обозначения определенных орудий труда, и оказалась опасной для дальнейшего употребления слова *рыло*. Сравнивая разные списки текстов, в которых можно встретить наше слово, мы легко обнаружим одну интересную закономерность. Оказывается, *рыло* употребляется только в тех редакциях текста, где вообще указаний на конкретные, частные особенности жизни героя (как правило, какого-нибудь святого) очень мало. Как в народной сказке, ничего конкретного и определенного! Автору важно указать, что его

герой чем-то рыл землю, а чем именно — это было неважно, потому что могло прибеднить возвышенный образ героя. Скажешь: *рыл лопатой* — так ведь мало ли кто лопатой роет! *Рыло* — более важное, торжественное слово, и его вполне прилично применить по отношению к святому. И только в редакциях со многими особенностями бытовой, разговорной, близкой к современной автору крестьянской речи вместо слова *рыло* находим конкретное *лопата*, а еще чаще — *мотыга*.

Следовательно, и в Древней Руси слово *рыло* являлось уже стилистическим вариантом к более распространенным в простой речи словам конкретного значения. И это — вторая причина постепенного изменения слова *рыло*.

Как же изменялось его значение?

Если *рыло* — все, чем роют, то легко перенести значение слова с орудия труда на другой предмет по сходству в употреблении. Все, чем роет человек, — *рыло*. А все, чем роет, например, свинья, для которой рытье, можно сказать, является «профессиональным занятием»? *Рыло?*

Рыло.

Так получилось, что в конце концов в разговорной русской речи за нашим словом осталось только одно, и притом конкретное, значение: «свиной пяточок».

В XVII и XVIII веках такое значение слова — единственное, да и современные нам словари только его считают единственно литературным: *рыло* — «передняя крайняя часть носа некоторых животных, приспособленная для рытья». Сказано по-научному длинно, но ясно. Только тут говорится не об одной свинье — о всяком животном того же рода. Но все-таки сначала *рыло* присвоили свинье, тут уж ничего не попишешь. Даже ироническую поговорку сложили: *И по рылу знать, что не простых свиной*, очень употребительную и попавшую в художественную литературу, например, у Н. С. Лескова:

«— Вон какой! — произнес под ухом Розанова Помада.

— Да, и по рылу видать, что не из простых свиной, — заметил Розанов».

По сравнению с поговоркой тут есть небольшое новшество. В главном предложении модернизирован глагол — вместо старого *знать* теперь употреблено *видать*, потому что глагол *знать* в этом смысле уже вышел из употребления (ср.: *Я, знать, не нужен*, что равно *Я, видно, не нужен*). В придаточном предложении появился предлог

из, который подчеркивает значение следующего родительного падежа.

В начале XIX века уже определенно *рыло* — выдающаяся передняя часть морды не только свиньи, но и всякого животного, способного что-то рыть носом. Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить две басни И. А. Крылова. В одной из них

Хавронья хрюкает:...

«А, кажется, уж, не жалея рыла,
Я там изрыла
Весь задний двор».

В другой басне Волк кричит Ягненку:

«Как смеешь ты, наглец, нечистым рылом
Здесь чистое мутить питье
Моё
С песком и с илом?»

Теперь и ягненок получает *рыло*. Это справедливо: в данном случае его подозревают в том, что он роет песок и ил. Роет носом.

Носом или мордой? Новое распутье.

Действительно, как только четкое и определенное значение слова по признаку сходства распространяется на другие сочетания, сразу же появляется возможность нового толкования старого значения или попросту изменения значения.

Пока *рыло* — ‘нос свиньи’, все остается на своих местах. Но как только *рылом* начинают называть кончик носа у любого другого животного, дело незаметно для говорящих, но решительно изменяется.

Изменяется, во-первых, потому, что не у всякого животного собственно нос выделяется из всей морды. *Видит кот молоко, да рыло коротко. Рыло* здесь — это уже вся кошачья морда.

Изменяется, во-вторых, потому, что можно ведь пойти и еще дальше, назвать рылом кончик носа и весь нос не только у животного, но и у человека. Какой-нибудь выразительный кончик носа очень даже хорошо назвать *рылом*. По крайней мере, ясно, о чем речь.

Ну, и уж совсем просто *рылом* назвать не только кончик носа, а весь нос целиком, как это и сделано у Гоголя. Когда Гоголь представляет нам своего Ивана Антоновича и на-



зывает его *Кувшинным рылом*, мы сразу понимаем, что все лицо чиновника выдавлено в один нос. Единственной деталью писатель рисует тип, но какой деталью!

На первых порах *морда* и *рыло* еще различаются. Об этом можно судить, например, по пословице: *Разобью тебе морду и рыло, да и скажу, что так было*. А вот в другой пословице такой ясности нет: *Отворотил рыло — да и*

мимо. Здесь говорится совсем о другом рыле — о морде в целом. В обеих пословицах речь, собственно, идет о человеке, поэтому и *морда* в данном случае — это грубый синоним к слову *лицо*. Произошло отождествление *рыла* и *лица* человека точно тем же путем, что и в совпадении *рыло — морда* применительно к животному.

В современном русском литературном языке *рыло* — бранное обозначение человеческого лица в целом. *Рылом не вышел* — 'некрасив лицом'. В рассказе А. Чапыгина «Последний путь» рядом находим авторскую характеристику героя и высказывание о нем другого персонажа. Сравните-ка. Сам автор говорит: «Впереди всех шел Васяка с хитрым безбородым, бабьим лицом...» А вот как называет такое лицо один из спутников: «Врет, точеное *рыло!*» То, что автор описывает обстоятельно и деликатно, грубый мастерской передает четко и кратко. Из такого разностилевого сопоставления нам и становится ясно, что *рыло* здесь — все лицо, необычное и потому вызывающее явное неодобрение: что за мужик без бороды!

Хотя такое значение слова *рыло* и считается грубым, оно все же остается в границах литературного языка. Это просто один из стилистических вариантов литературной речи, прежде всего потому, что большинству русских народных говоров такое значение слова вообще неизвестно. На севере *рылом* называют подбородок, место, откуда растет борода (а, в свою очередь, подбородком справедливо считают нижнюю часть лица, под бородой и вплоть до

кадыка). В говоре это совершенно приличное слово, и с ним могут обратиться к самому уважаемому человеку. На юге это же слово обычно употребляется для обозначения широко раскрытого или изуродованного рта. О таком рте и присловье сложили: *Рыло порото по самое ухо — ласточкин роток!* Иван Бунин, по рождению южанин, в одном своем произведении, стилизованном под народную речь, писал об Иване Дураке: «...а он опять играет песню «Ой, вы, очи, мои ясные очи», на печке лежит и песню кричит во всеё рыло». Не носом же он пел, в самом деле; во всяком случае, не одним же кончиком носа! И на юге наше слово не является грубым — оно, как и на севере, но только в ином значении, употребляется для выражения какого-то особого понятия в известных обстоятельствах.

Так выясняется, что неприличным, неудобным слово становится лишь тогда, когда попадает в соседство с другими, более распространенными и более удобными. Все относительно, и вполне можно представить, что, наоборот, слово *лицо* стало бы неприличным, а слово *рыло* — очень даже хорошим и вполне литературным.

Теперь на примере того же слова (*рыло*) мы можем отметить еще одну важную особенность в изменениях слов. Оказывается, значения слов не просто «перетекают» из одного в другое, более широкое по смыслу или, наоборот, более узкое. Каждый раз подобное изменение в значении определяется положением слова в ряду других, близких к нему по значению, новых или старых. Если в тесно набитом пассажирами автобусе вы толкнете соседа, ваш удар почувствует и далекий от вас пассажир — очень слабо, но все-таки почувствует. С изменениями слов, конечно, несколько сложнее, но принцип все тот же: изменилось значение одного слова — изменению подлежат и значения его соседей.

Но и это еще не все. Сравнение слова *рыло* в литературном языке и в говорах показывает, что только в литературном языке оно имеет два значения и одно из них — не совсем литературное! Вот что приходится учитывать при изучении истории слов в литературном языке: не только внутреннее движение значений, но и возможности стилистического использования старых, тех, которые сохранились от давно прошедших времен.

Рыло было вполне пристойным обозначением человеческого носа, пожалуй, чуть ли не до Пушкина. Почему?

Потому что тогда было, по существу, два литературных языка — русский и церковнославянский, которые противопоставлялись очень многими словами; например, в одном употреблялись слова: *лоб, глаз, щека, шея* и т. д., а в другом соответственно: *чело, око, ланита, выя*. В условиях, когда оба языка были друг другу четко противопоставлены (и, более того, всегда, в любом тексте, осознавались как самостоятельные языки), — в таких условиях и общие обоим языкам слова должны были как-то разделиться, стать на сторону одного из них — русского или церковнославянского. В обоих литературных языках было слово *нос* — оно и оставалось во втором из наших рядов, в церковнославянском: *чело, око... нос*. А в ряду русских слов постепенно распространилось, хотя и не вытесняя окончательно слова *нос*, уже знакомое нам слово — *рыло*: *лоб, глаз... рыло*.

Впоследствии, после реформ Ломоносова и Пушкина в области литературного языка, произошло слияние двух литературных языков, а слова, прежде принадлежавшие разным литературным языкам, остались все. Они обозначали одно и то же понятие (*выя* — это *шея, щека* — это *ланита* и т. д.), и потому по уже известной нам логике развития одни из них должны были исчезнуть, а другие — остаться. Если определенную часть лица мы называем *щекой*, зачем тогда нам еще и слово *ланита*?

Однако логика развития литературного языка оказывается совсем иной, чем это имеет место в развитии народного языка. У литературного языка свои законы изменения, потому что литературный «язык» стоит ближе к речи, чем к языку.

Одним из законов литературного языка является необходимость широкого развития слов — синонимов. Одно слово хорошо в обычной речи, цель которой — какое-то сообщение; другое потребуется, если нужно передать ваше неодобрительное отношение к чему-то; третье нужно, чтобы по тому же конкретному поводу выразить восхищение, не прибегая для этого к специальной интонации или знакам препинания. А значение во всех случаях у всех таких слов одно и то же: *идти* — *стунать* — *шестьствовать* и тут же — *переться*.

Вот почему в своем развитии литературный язык очень осмотрительно сортирует весь свой наличный запас слов, не выбрасывает без особой нужды ни одного из них: вдруг

кому-нибудь пригодится! Какие-то слова становятся стилистически нейтральными, мы употребляем их в обычной речи; из нашего ряда в русском литературном языке такими стали русские слова *лоб, глаз, щека, шея*. Церковнославянские же слова очень долго были вариантами этих русских и употреблялись в поэтической или торжественной речи как средство стилистического выделения:

И сладкая слеза *ланиту* орошает. (Б а т ю ш к о в.)

Но только цвет ее *чела*

Был страшно бледен. (Л е р м о н т о в.)

Взглянет он тебе в *очи* и полонит твою душу. (Г о р ь к и й.)

В таких текстах, где следовало передать возвышенность минуты, ее трагичность или потрясение героя, поэты часто использовали слова, отстраненные от повседневной жизни, торжественные и звонкие. И Горький-романтик не прошел мимо такой лексики. Именно такими словами могла описывать старуха Изергиль красавца цыгана. Особенно выразительны подобные высокие слова в тех текстах, где они употреблены подряд, где их много. Они как бы поддерживают друг друга среди слов-чужаков, и тогда чужаки сами получают возвышенный, торжественный тон. Смотрите, у Пушкина:

Его *чело*, его *ланины*

Мгновенным пламенем горят;

Его *уста* полуоткрыты...

Да, именно так: *мгновенным пламенем горят ланины* у Ратмира, а не *он покраснел* или (стилистически еще ниже) *он взорел*, и даже не *он вспыхнул*, что по своему значению как раз и соответствует *мгновенным пламенем горят*. Все другие варианты выражения в окружении высоких слов воспринимались бы либо иронически, либо неверно. Нет, не случайно в своем анализе каждый конкретный текст лингвисты называют контекстом — окружением. Из песни слова не выкинешь!

Постепенно многие церковнославянские слова исчезли из языка. По словарям можно проследить, какие из них утрачены раньше, какие позже. Значение некоторых известно теперь только ученым (например, *перси* — 'грудь', *выя*). Другие понятны и вам, хотя в своей речи вы редко их употребляете (*очи, чело*). Такие слова могут употребляться в художественной речи как торжественный вари-

ант обычного слова. Нарядное, праздничное слово. Парадное.

Рассмотренный только что тип изменения слов — особый тип; при таком изменении слово остается тем же самым и по значению, и по звучанию, оно практически не изменяется, оно лишь меняет свою стилистическую характеристику и свое место в системе близких по значению слов. Такое изменение больше всего характерно для литературного языка.

Однако вернемся к *рыло*. Понятно взаимное отталкивание двух словесных рядов — высокого *чело, око, ланита...* и нормального (ученые называют его нейтральным) ряда *лоб, глаз, щека...* Однако почему в русском литературном языке, в основу которого положен все-таки русский ряд слов, нейтральным не стало и *рыло*? Да потому, что и *нос*, и *лицо* были словами, общими и для русского, и для церковнославянского языка. А все общие слова, если вы помните, Ломоносов включил в свой «средний штиль» — тот самый «штиль», который и стал впоследствии основой для литературного языка.

И вот тут-то *рыло* не повезло. По своему употреблению в разных контекстах оно было более редким, нежели *нос*. Потому оно и стало стилистическим вариантом, но только не торжественной речи, конечно, а бытовой. Слово ведь пришло не из церковнославянского языка. В церковнославянском языке *рыло* — орудие копания; оно не развивало новых, переносных значений. Значение *рыло* 'нос' в литературный язык пришло с другой стороны, оно развилось в разговорной русской речи.

У Ломоносова слова таким образом и распределялись по «стилям». В высоком, например, — *лик* (церковнославянское), в среднем — *лицо* (общее для обоих языков), в низком — *рыло* (русское).

И еще одна деталь: в качестве собственно литературного победил в русском языке «средний штиль». Во-первых, потому, что в него включались общие слова, которые стилистически были максимально нейтральными. А во вторых... Смотрите: в высоком — *выя*, а в среднем этому слову соответствует *шея*; в низком — *рыло*, а в среднем этому слову соответствует *лицо* или *нос*. Но в высоком нет специального слова для обозначения носа, точно так же как в низком шея всегда *шея*. Только средний штиль соединил в себе нейтральные по краскам слова, которые нуж-

ны для передачи всех необходимых понятий. Вот по этим-то двум причинам он и стал основным вариантом современного русского литературного языка.

Так печально закончились попытки вполне приличного слова *рыло* пробиться в литературный словарь. Не пустили соседи.

Каждый отдельный пример изменения слова способен дать материал для новых и новых, все более уточняющих суть дела выводов. Что ни слово — своя судьба. Однако в самых общих принципах эти изменения совпадают. А такие принципы и есть законы изменения. Не только в русском, но и в других языках они, в общем, схожи.

Стилистические изменения слов в большей степени зависят от воли отдельного человека, писателя или ученого, чем семантические (смысловые). Особенно много таких изменений было на раннем этапе развития русского литературного языка, до Пушкина. Богатый выбор слов предоставлял писателям широкие возможности, и они такими возможностями свободно пользовались. В произведениях XVIII века, особенно в комедиях и пародиях, встречаются такие слова и выражения, которые после Пушкина никто не осмелился бы признать литературными. И в наши дни идет стилистическое изменение отдельных слов, однако этот процесс не связан уже с внутренними закономерностями изменения самой системы слов, часто является вопросом моды, влияния и подражания.

Рассказ девятый

О ТОМ, КАК ИСТОНЧАЮТСЯ СЛОВА И ТОЛСТЕЮТ СЛОВАРИ, А ТАКЖЕ О СУПРУГАХ И БЛАГОВОНИЯХ

Пути изменения слов причудливы и многообразны. Вы видели комариный танец в теплый июльский вечер? Никогда не знаешь, как и куда метнется парящее в облаке себе подобных ажурное существо — комар. Траектория полета определяется тысячью непредсказуемых условий.

Слова похожи на такое невесомое облачко: Они все вместе, но каждое и само по себе, во всем своем совершенстве: вот так оно произносится (это его фонетическая сторона), так оно образуется от других слов (это его словообразовательные отношения), так оно изменяется, присоединяясь к другим словам в предложении (это его грамматические формы). А вот так слово расцветает всеми гранями своих значений, если вокруг нет ни одного похожего или равного ему, или смиренно пригасит внутреннее свое свечение, если по соседству окажется более точное, более гибкое. Тогда мы говорим о лексическом значении слова, а шире — о семантических связях слов. Семантических — значит смысловых; термин *семантика* восходит к древнегреческому *семантикос* 'обозначающее'. И верно, слово не отражает предмет непосредственно, оно только обозначает его условным символом.

Слова любого языка составляют сложную, разветвленную систему знаков.

Слово — двусторонний знак: оно имеет форму (которая изучается грамматикой и фонетикой) и значение

(которым занимается семантика). Форма слова условна по отношению к его значению. Почему, в самом деле, мы произносим *стол*, чтобы обозначить понятие «стол» и тем самым представить реальный предмет — стол? Почему мы при этом не произносим другого набора звуков, например, подобно чехам и полякам, — *стул*, или, подобно украинцам, — *стил*? А потому, что для современного русского человека ряд звуков *стол* связан с обозначением понятия «стол», тогда как для обозначения того же понятия поляк пользуется рядом звуков *стул*, а украинец — рядом звуков *стил*.

Выходит, что связь звучания и значения слова весьма условна и сама по себе может изменяться. Так, кстати, и случилось в польском и украинском языках: общее славянское слово *стол* с течением времени в польском превратилось в *стул*, а в украинском — в *стил*. Звуковая форма слова изменилась, причем в каждом языке по-своему, а общее значение сохранилось.

Однако в каждом данном языке в данную историческую эпоху связь формы и значения слова является постоянной и обязательной для всех, кто на этом языке говорит.

Изменения в языке могут происходить по разным причинам. Изменяются разные стороны сложного целого — слова. Изменяется звучание слова, его морфологический состав, его место и ранг в сочетаниях с другими словами и в предложении, его значение.

Чаще всего значение слова сужается. Постепенно ограничивается число сочетаний, в которых это слово может выступать. Так происходит потому, что в языке постоянно отрабатываются средства наиболее точного, а следовательно, и однозначного выражения мысли.

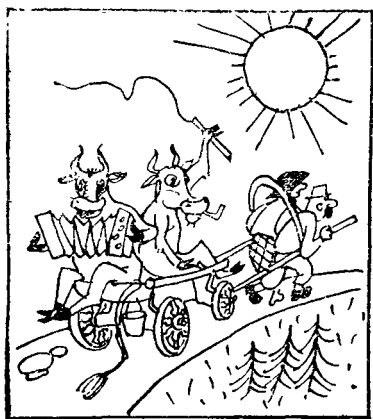
Здесь мы снова обращаемся к древнерусским текстам и находим такие сочетания:

Имамъ же два супруга воловъ...

Вы в напастехъ утеха и в темници освобождение, супруго Борисе и Глебе!..

Повелевають нам гонити десять супругъ.

И волы в упряжке — *супруги*, и братья — тоже *супруги*. Странно, в современном русском языке это слово обозначает семейную пару, мужа и жену. Наши же тексты передают исконное значение слова: «пара в одной упряжке». Два вола в одной упряжке, два брата, погибшие одновре-



менно и за одно дело, наконец, двадцать упряжных животных, которых нужно пригнать из стада, — это все *супруги*. Соединены навечно каким-то чисто внешним образом.

Супругъ — того же корня, что и *упряжка*, эти корни различаются только чередованием звуков. Да и слова *упряжка* в то далекое время еще не было, как раз слово *супругъ* его и заменяло. Только тогда, когда из слова

упряжь возникло новое слово *упряжка* (а в говорах — *супряга*), *супругу* пришлось потесниться. Сохранилось только одно из переносных значений: *супруги* — ‘муж и жена’. Да и в этом значении мало кто употребляет это слово в речи, потому что со временем оно получило нежелательный оттенок — либо слишком торжественно, либо иронично. Не все, может быть, согласится с этим, но слово все-таки на наших глазах «стареет», увядает, как цветок без воды. Все чаще и чаще говорят *семейная пара* или как-нибудь иначе, но только не *супруги*. Этого слова избегают.

Таково естественное движение всякого слова, сохранившего одно-единственное, самое-самое узкое значение, которое вдруг оказывается и не самым важным.

Исчезло в современных отношениях противопоставление отца и матери всем прочим членам семьи — *домочадцам*, и язык чутко отреагировал на это изменение: слово, старое и хорошее слово осталось не у дел. Изменилось наше отношение к нему. И в словарях оно получило помету *устар.* — ‘устаревшее’.

А вот еще одно слово, совсем из другого семейства, — *укроп*. Древние греки укропом и петрушкой венчали своих героев и поэтов, мы кладем эти травы в суп. А как относились к укропу древние русичи?

Древние русичи под *укропом* понимали нечто иное. В сказании конца XI века говорится о том, что, *когда монахи налили в чашу укропа, в ней вдруг оказалась жаба,*

конечно уже сваренная в такой воде. Очень таинственная история — но только по отношению к жабе. С укропом же все ясно. Укроп — это кипяченая вода, кипяток. Естественно, как бы жаба ни очутилась в кипятке, она должна была свариться. Кропить, кропать, накрапывать — родственники старого укропа. Исконное значение корня можно было бы объяснить так: стремительное выбрасывание



чего-то густого и мокрого. Кипящая вода выбрасывает пузырьки, «кропки» — вот и укропъ. Наш современный укроп тоже выбрасывает кропки — множество мелких остро пахнущих цветков, которые собираются в кружева соцветий. По этому сходству с древнерусским укропом трава и получила свое название, как только проникла на Русь. И тогда стало неудобно одним и тем же словом называть и травку и кипяток. Появляется новое слово, образованное от глагола *кытети*. В летописи под 1382 годом говорится об осажденных врагом горожанах: *Граждане же воду въ котлахъ варяще, кыпятню, и льяху на врагов варъ*. Современный *кипяток* — с уменьшительно-ласкательным суффиксом *-ок* — появился немного позже. Но еще и в XVII веке *укропом* по старинке могли называть кипящую воду.

В другом отрывке, на этот раз из летописи XVI века, мы встречаемся со словом, тоже образованным при помощи суффикса:

...поставил ключницу хлебную камену.

Ключница. Это слово не раз встречалось нам в романах прошлого века. Дядя Онегина «лет сорок с ключницей бранился...» Да, но знакомая нам *ключница* (или *ключник*) — это 'тот, кто ведал продовольственными запасами семьи, дома, эконома'. А в отрывке из летописи *ключница* имеет совсем иное значение: 'помещение для хранения зерна, амбар'.

Оказывается, было два слова, которые звучали совер-



шенно одинаково, но имели различный смысл. Оба обязаны своим происхождением слову *ключ*.

Остановимся сначала на истории *ключницы* — ‘амбара’.

Значение вновь образованного слова всегда определяется значением производящего слова. Но как только слово станет самостоятельным, отделится от родительского, войдет в семью родственных по значению и по форме, его

сразу же поставят на место, на его собственное место.

Производное от слова *ключ* первоначально имело очень широкое значение — ‘всякое помещение, запираемое на ключ’. Впоследствии же, постепенно отстраняясь от родительского слова, теснимое другими словами того же типа (а их было много: *храмина, дом, изба, грядница, комната, хижа* и другие), наше производное стало обозначать только ‘амбар’.

Но рядом существовало еще одно слово *ключница*, обозначавшее человека, ответственного за сохранение самой главной средневековой пищи — хлеба. Мать князя Владимира Красно Солнышко, например, была *ключницей* княгини Ольги. Было известное неудобство в том, что и амбар, и женщина, хранящая от него ключ, одинаково *ключницы*. И потому с появлением татарского *амбар* *ключнице* пришлось еще раз потесниться. С этого времени *ключница* только женщина, которой можно доверить ключи от амбара.

Дальнейшая судьба *ключницы* напоминает судьбу *супруга*: слово постепенно выходит из употребления. Мы встречаем его в книгах и можем объяснить его значение, но в жизни нашей оно нам не особенно нужно.

Так, вступая в сложные отношения с системой близких по значению слов, максимально конкретное по своему значению слово постепенно стирается, подобно старой монете, побывавшей во многих руках, и уходит из языка.

Уходит, да не всегда. Иногда, казалось бы, и ушло, да

вдруг и возвратится, сменив свое значение на прямо противоположное. Конечно, не само по себе, а опять-таки под влиянием всех ему подобных слов, в их системе. Посмотрим несколько случаев такого изменения.

Во всех родственных русскому языках сочетание *сосать соску* может быть понято одинаково: младенец, издавая чмокающие звуки, втягивает в рот молоко. *Сосать молоко* — втягивать его губами в рот. А *доить молоко*? Ну, *доить молоко* — значит выцеживать его из вымени. В словаре, во всяком случае, именно так и сказано. В современном словаре.

А вот во всех родственных русскому древних языках слово *доить* обозначало то же, что и *сосать*. *Сосать соску*, *доить соску* — все равно. Правда, есть одно *но*: о тогдашних сосках нам ничего неизвестно. Младенцы сосали и доили грудь. И древних текстов с этими глаголами сохранилось довольно много. Однако некоторые из них весьма странны, непонятны, вот такой, например: «Женщина доит дитя молоком». Это значение ('кормить ребенка грудью') появилось в результате столкновения с глаголом *сосать*: в самом деле, два слова обозначали один и тот же процесс, но участниками этого процесса были двое: и кормящая мать, и младенец. Между словами произошло распределение обязанностей: *доить* — 'кормить', *сосать* — 'кормиться'. В южных славянских языках такое соотношение слов сохранилось до сих пор, а вот в русском оно снова изменилось. Молочное животноводство требовало своих обозначений и терминов, и слово *доить* перешло в другую группу лексики, получило знакомое нам современное значение. Вполне возможно, что некоторое время слово *доить* употреблялось в различных значениях, поскольку исходный его смысл годился для всех случаев. И лишь затем, подчиняясь законам развития слов и их значений, оно сохранило только современное значение.

Как видите, не так уж просто уйти слову из языка, даже если оно оказалось лишним в системе близких по значению.

Существует много средств задержать исчезновение слова, сохранить. На всякий случай. Хотя бы и на задворках лексикона, хотя бы со стилистической пометой, но сохранить.

О слове *вонь* в современных словарях говорится: разговорное, значит оно 'дурной запах'. И стилистическая

помета есть, и суженное значение, только 'дурной запах'. Если вы внимательно прочли этот рассказ, уже и без меня легко догадаетесь: коль скоро слово получило узкое значение и загнано в стилистический угол, значит, скорее всего, когда-то оно имело чересчур широкое значение и употреблялось всеми и всегда. Конечно, так оно и было.

Это слово — родственник таким, как болгарское *воня* 'вонь', сербское и украинское *вонь* 'запах', чешское *вуне* 'благоухание'. Да еще в русском языке сохранилось заимствованное из церковнославянского языка слово *благовоние*. Как его перевести? «Приятный дурной запах»? У славян исконное значение слова *вонь* — 'запах', любой запах. Но когда под влиянием церковнославянского языка 'хороший запах', 'аромат' стал связываться с новым, первоначально искусственным (но искусным!) образованием *благовоние* — вот тогда за исконно славянским словом *вонь* и стало постепенно закрепляться значение противоположного характера, т. е. 'плохой, дурной запах'. Положение обязывает: раз уж 'хороший запах' имеет свое название, остается сохранить за собою хотя бы значение 'дурной запах', пока вовсе из словаря не попросили!

В других славянских языках положение то же: вот в сербском, например, не укрепилось слово *благовоние*, а для обозначения дурного запаха имелось общеславянское слово *смрад*. Поэтому там старое славянское слово *вонь* сохранило свое общее значение 'запах'. При изучении родственных языков это самое трудное: слова звучат одинаково, а значат подчас прямо противоположное.

История этого слова в русском языке прошла несколько этапов. В самых древних текстах, XII века, *воня* всегда обозначает 'запах вообще': «откуда же сладость в овощи и добры вонь — ничто же не *воняет* (кроме самого овоща)». Выделенные слова имеют значение 'запах', даже 'добрый запах'. Нужно специально добавить слово *добрый*, чтобы передать конкретное значение хорошего запаха.

А в текстах XVII века уже все перемешано. Вот в одном из них буквально рядом: с одной стороны, «яко воздуху наполнится от *воня мускусныя*» — это приятный запах, тогдашние духи; с другой же стороны, описание дикой свиньи: «вешрь бо *смрадом воня* и весь сквернен». Само сочетание с существительным *смрад* указывает на новое, теперь более обычное значение слова *воняти* 'дурно пахнуть'. Тем не менее речь здесь идет не о вонь, а о смраде.

Вонь в современном нам значении скорее всего является производным от глагола *вонять*, т. е. даже и по своему происхождению вторично. Изменение в правилах сочетаемости глагола привело к изменению в его значении: *воняти мускусом* — *воняти смрадом* — легкий сдвиг в сторону, небольшая вольность, может быть, поэтическая метафора в конце концов привела к печальному финалу, хотя финал этот и был подсказан местом слова в цепи родственных слов.

На этом примере вы видите условия, в которых происходит изменение значения. Система значений всех родственных слов всего лишь не препятствует изменению одного слова в ту или другую сторону. Само же изменение всегда имеет множество возможностей: значение может сдвинуться в ту сторону и в другую сторону, и туда, и сюда. Как позволит текст и подтекст. Как получится — красиво или неудачно? Понравится ли? Соединится ли слово в новом значении с другими словами или нет?

Изменения касаются не просто отдельных слов — отдельное слово никогда само по себе не стало бы изменяться и вообще не могло бы измениться. Слово — это ведь условный знак. Изменяется не отдельный знак, а сразу целые группы знаков, связанных общей системой. В самом деле, если в древности слово *доить* входило в одну группу, а теперь, слегка изменив свое значение и правила сочетания с другими словами, связано совсем с иной группой слов русского языка, ясно, что прежнее, древнее соотношение слов распалось, видоизменилось, стало другим.

В современном словаре мы находим много слов, которые кажутся одинокими в словарном море, случайными сочетаниями звуков, которыми к тому же и редко пользуются. Вот одно из них — *кляп*.

Хорошее и звонкое слово, но часто ли оно нам нужно? Слово короткое, но в толковом словаре русского языка объясняется длинно: 'кусок дерева или тряпка, насильно всовываемая в рот для предупреждения крика или кусания'. Вот как: кусок дерева в рот, чтобы не кусался. Ну, понятно, при этом нужно руки связать, чтобы не пытался выдернуть кляп, и за волосы держать. Но словарь этих подробностей уже не отмечает. Оно и понятно: словарь, а не инструкция. А нам и того меньше нужно, всего лишь опорные части словарного описания: 'кусок дерева... насильно... в отверстие... закрыть (согнув)...'



Если вы внимательно всмотритесь в этот пунктирный набросок, то за ним, за его многоточиями вы увидите сложную историю слова, его прежние значения, его постепенное и неуклонное движение к современному короткому *кляп*, потому что, если слово остается в одиночестве, постепенно растеряв все свое обширное семейство, в нем, свернувшись пружиной, сохраняются до лучших времен

все возможные в прошлом значения и оттенки. И когда понадобится, эта пружина может развернуться новым соцветием слов. Если подобные корни вы назовете *лексическими консерватами* (все-таки лучше, чем «консервы») — это будет точно.

Вот каким образом эта пружина свертывалась. Есть какие-то связи между корнями *-кляп-* и *-кляч-*. Во многих славянских языках (и в русском также) они дают одинаковую россыпь значений. Например, наша *кляча* по-польски звучит *клеⁿпа* (похоже на *кляпа*). Общее значение слов с этими корнями — ‘согнутый (насиленно)’, это значение можно заметить и в диалектных русских словах. Илья Муромец, если вы помните, одного из своих противников повстречал *у тое у березы у покляпя* — ‘у согнутой, искривленной березы’. Та же самая *кляпа*, она же и *кляча*.

В говорах, а еще больше в старых памятниках, есть и более близкие родственники *кляпа*: *кляпец* ‘ловушка, западня’ — то же самое: ‘кусочек дерева... в отверстие... закрыть...’. *Кляпыш* — ‘деревянная пуговица на древних кафтанах’ с тем же самым общим значением корня. Раньше *кляпышем* называли еще плод миндаля, он похож на такую деревянную пуговицу. А *кляпиной* называли кривое дерево. И т. д.

Так изменяются слова — истончаются до предела, уходят из языка, подобно тому как уходят из речи обычные для этих слов контексты. Устаревая, значения слова одно за другим медленно, но верно устраняются.

Рассказ десятый

О ТОМ, СКОЛЬКО РУССКИХ СЛОВ И КАКИЕ ИЗ НИХ РУССКИЕ

Для многих людей слова — это и есть язык. Если много слов, язык богатый и хороший, мало — совсем наоборот.

Много ли слов в русском языке?

А это как считать. Кому и двухсот слов хватит на целую жизнь, а другим нужно побольше. Если считать все слова, которые, постепенно накапливаясь, составили в конце концов л е к с и к о н русского языка, их окажется около миллиона. Судите сами: слов современного русского литературного языка около 150 тысяч, кроме того, диалекты имеют около 200 000 слов (или новых значений литературных слов), да иностранных слов собралось около 30 000, да новых слов и значений около 5000, и число их все время прибывает. Добавьте сюда научные термины, слова специальных языков (жаргоны) — около 10 000 за все время их существования, — и устаревшие слова церковнославянского языка, которые мы используем по разному поводу и случаю, — еще несколько тысяч, и в историческом словаре утраченных теперь и позабытых слов около 30 000, и словарь собственных имен и прозвищ (включая самые невероятные), если бы их собрали полностью, содержал бы за 25 000 слов, и разные случайные слова-однодневки, которые в разговоре мы составляем каждый день и тут же забываете, и разные уменьшительно-ласкательные и увеличительно-уничижительные, и прочие слова с суффиксами, которые обычно не попадают в словари... Так и окажется,

что в нашем распоряжении как раз почти миллион слов или во всяком случае их особых, каждый раз новых значений. Конечно, если со знанием дела «отжать» эту массу и дать полный словарь русского языка, миллиона не будет, но все-таки много, очень много. Больше, чем нужно, чтобы написать «Войну и мир» или «всего Пушкина».

Теперь почти миллион, а тысячу лет назад, когда мы впервые встречаем славян в исторических источниках. у них, по мнению ученых, было около 20 000 (некоторые увеличивают число слов до 40 000). Если эти цифры обдумать, окажется, что за тысячу лет наш лексикон увеличился в 25 раз, каждый год в среднем возникала почти тысяча новых слов или их значений. может быть, случайных, неустойчивых, впоследствии бесследно исчезнувших, но новых и всегда чем-то важных для славян.

Это большое богатство, но отчасти мы его растеряли. Слишком поздно стали записывать слова, составлять словари. Да и то попервоначально старались записывать какие-нибудь неведомые, странные слова, не славянские даже, чтобы им научиться. В первом печатном «Лексисе» Лаврентия Зизания 1596 года всего 1061 слово—это очень много по тем временам. У Памвы Беринды в словаре 1627 года почти 7000 слов, и это количество казалось невероятным. В конце XVIII века был составлен «Словарь Академии Российской» — в нем 42 257 слов, во втором его издании 1806 года 51 388 слов. В учебном словаре П. Соколова 1834 года около 80 000 слов, в академическом словаре 1847 года 114 749 слов, в «Толковом словаре» В. И. Даля, вышедшем начиная с 1863 года, более 200 000 слов. Так постепенно увеличивался интерес к собиранию слов и вместе с тем интерес к своему родному, казалось бы, такому знакомому русскому слову.

Все это время росло и число новых слов. Они не появлялись неизвестно откуда, придуманные случайно и вдруг — таким образом слова редко появляются. Они были бы непонятны, они бы не сохранились.

Нередко слова просто заимствуются из другого языка или «переводятся» с чужого языка на свой, родной; образуются к а л ь к и (от французского слова *calque*) — слова, построенные по образцу чужих слов путем точной копировки их средствами родного языка. Так случилось, например, со словом *сосесть*, которое появилось еще в Древней Руси по типу греческого слова *syn-eidē-sis*, с точным

соответствием по составу слова: греческая приставка *syn-* и славянская ей соответствует *-съ*, в греческом корне *-eid-* то же значение, что и в славянском *въѣд* — ‘знать’, ‘ведать’ (этот греческий корень мы встречаем в слове *идея*). Не только части слова, но и общее его значение как бы переводится на славянский язык: ‘совместное знание’, даже ‘сознание’. Ничего похожего на современное значение *сосесть* — ‘моральное чувство ответственности за свое поведение’ — в таком «переводе» слова еще нет. Оно появилось позже, связано с развитием человеческих отношений в условиях новой культуры.

Однако гораздо чаще такие «заимствования смысла» без самого слова происходят в разговорной речи. Расскажу вам поучительную историю из недавнего времени.

В числе многих других нареканий за грубость языка молодой Максим Горький получил и упрек за употребление варваризма *выглядит* в значении ‘производит впечатление’. Ярким доказательством порчи языка, — писали журналы, — «может служить знаменитая, прямо-таки невозможная форма Максима Горького: *лошади выглядели уродливыми*». *Выглядеть* в этом значении тоже калька, но только с немецкого *aussehen*. Ни один классик русской литературы не употребил это «уродливое порождение петербургских чиновников из немцев». Тургенев сказал бы иначе: *она была собою некрасива*, и даже журналисты конца прошлого века предпочитали говорить: *он смотрит бодро*, а не *он выглядит бодрым*.

Только словарь под редакцией Д.Н. Ушакова в 1935 году отметил, что данное значение слова *выглядит* — «все более входящий в употребление германизм». Теперь оно кажется нам обычным, хотя долгий процесс его внедрения в литературную речь показывает, что кальки не сразу становятся русскими словами, встречают своих противников.

Иногда не только основное, но и переносное значение чужого слова переходит в наш язык, а нам и невдомек, что теперь мы говорим чужими метафорами. *Душа*. например, у славян — это только ‘душа’, живущая сама по себе в человеческом теле и покидающая его после смерти. Греческое же слово, которое соответствует нашей *душе*, — *psyche*: это и ‘душа’, и еще к тому же ‘отдельный (живой) человек’. Второе значение греческого слова впоследствии было перенесено на славянское, и в русском языке душа стала значить еще ‘человек’. Даже м е р т в а я душа —

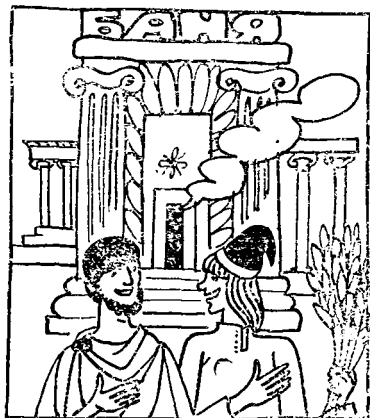
все равно 'душа', потому что 'человек'. *Супруг*, как мы знаем, — это пара волов, а в греческом слове с такими же морфемами *su-dzug-os* не только 'пара волов', но и 'мужчина, находящийся в браке'. Русские книжники и эту греческую метафору использовали в своих интересах, так и у нас появились *супруги* — изысканное наименование брачной пары. Греческое слово *kefalē* — это и 'голова' (отсюда и черноморская *кефаль*), и вместе с тем 'глава в книге'. Тогда и наши книжники ввели в обычай: *голова* — головой, но еще и *глава*. Заметьте: второе слово не в русском произношении, а в церковнославянском. Источник нового слова ясен — оно пришло из книжной среды, поэтому и произношение его не разговорное.

Но особенно много в русском языке простых заимствований. Бывали времена, когда они буквально заливали русский язык своим потоком, чтобы потом, войдя в берега русской речи, оставить в нашем лексиконе десяток или сотню слов, которые прижились и стали, как говорится, своими.

Много слов славяне заимствовали у греков, более 1200, а сохранилось около 400. Одни греческие слова проникали к нам из книжного церковнославянского языка: *алфавит*, *варвар*, *високосный*, *диафрагма*, *дракон*, *климат*, *лента*, *литр*, *мастика*, *куролесить*, *мрамор*, *плита*, *тигр*, *стих*, *хор* и даже *плазма*. Другие попали в наш словарь, пройдя через соседние языки, — такие слова наши предки воспринимали неохотно, считали их неприличными, употребляли редко, например *скалыга*. Но также и *нефть* — это слово тоже со временем стало важным. Были и такие, которые славяне заимствовали в разговорах с греками, принося их из устной речи. И вот эти-то сохранялись лучше всего, они немного изменились в произношении, приспособились к какому-нибудь типу склонения и до сих пор радуют нас своим существованием. Мы-то думаем, что говорим порусски, а на самом деле употребляем когда-то заимствованные слова: *блин*, *бумага*, *василек*, *вишня*, *мак*, *мята*, *миндаль*, *огурец*, *свекла*, *оладья*. Все как будто свое. славянское, а не: *камора*, *терем*, *клетка* (комнатка), *кровать*, *миса*, *лохань*, *фитиль*, *кукла*, *баня*...

У древних заимствований легко разглядеть общую причину их перехода к славянам. Обычно это связано с новым явлением или предметом, которые славяне получили от своих соседей и которые нужно было как-то называть.

Из иранских языков они заимствовали слова, связанные с религиозным культом: *бог, господь, болван* (т. е. идол, изображавший бога), *кур* (кровью которого окропляли болвана), *курган, чертог, ирей* (блаженная страна мертвых) да попутно еще *топор, собака и хата*. В IV веке славяне заимствовали у германцев термины, связанные с войной: *шлем, броня, стрела, меч, брадовь* (секира), *тесала, скрада*



(котел или костер на биваке), *луца* (древко копья), *чужой* (враг), *котел, серьга* (железное украшение воина, что-то вроде медали за храбрость), *полк, князь, король*. Германцы-готы раньше славян получили христианство, и через их посредство славяне познакомились со словами *буква, поп, пост, церковь*, а также с названиями монет (у славян их еще не было): *цата, щельг, пенязь* (шиллинг и пфенниг).

Через славянские земли пятнадцать столетий назад готы прошли к югу и по пути познакомили славян с железом, о котором сами только что узнали от римлян. *Шлем, меч, броня* и все остальное — все делалось из железа, для славян же железо тогда было з новинку. Впитали в себя новую материальную культуру и одновременно заимствовали несколько терминов, а в других случаях просто изменили значения старых, уже бывших в их языке слов. *Нож*, например, слово того же корня, что и прусское *pagis* и литовское *pagis* и означает 'кремень'. Оно пришло из каменного века. В V столетии из бронзового нож становится железным, но сохраняет свое название. *Щит* по своему первоначальному значению не что иное, как 'недубленая шкура', именно ею обтягивали деревянную раму древние витязи, отправляясь в поход. Постепенно и щиты становились железными, хотя и обтянутые кожей употреблялись до XV века, но и те и другие одинаково назывались *щитами*, потому что служили для защиты.

Гунны, авары и прочие тюркские племена также прошли по нашей территории, но уже с востока на запад,

и оставили нам *вьюк, армяк, орду, деньги, жемчуг, клубук, колымагу, лошадь, слона, табор, ковчег, телегу, япанчу, хоругвь, товар, куму* и многие другие слова.

В начале XVIII века из западноевропейских языков пришло к нам более 3500 слов, но едва лишь половина сохранилась в нашем лексиконе, многие из них как редкие и специальные слова, но *гарзонь, кастрюля, лимонад, каше, касса, линия, магазин, гол, квиты* и прочие теперь знают все. Это слова русского языка.

Каким образом происходило заимствование чужого слова? Для того, чтобы оно стало своим, его звучание нужно было приспособить к произношению слов родного языка. У древних славян не было звука *ф*, им казалось, что в греческом слове *φαγος* — 'делотно' произносится звук *п* — так они и стали говорить: *парус*. Иноземное слово стало своим.

Можно было изменить ударение, если слово неловко произносить с чужим ударением. Заимствовали у скандинавов-варягов слово *тиўнъ* — 'подручный князя', а ударение показалось грубым, изменили и сделали *тйуиъ* и стали так говорить, потому что в чужих словах мы предпочитаем ударение на первом слоге: *гетман, деспот, евиѳх, жемчѳг, ротмѳстр* и многие другие давно уже стали: *гѳтман, дѳспот, ѳвѳнух, жѳмчѳг, рѳтмѳстр*, а *силѳс, квартѳл, партѳр* и прочие еще только пытаются измениться в *сѳлѳс, квѳртѳл, пѳртѳр*. Мы же возражаем против такого ударения, поправляем, хотя это, может быть, и бесполезно. Нельзя остановить живого потока языка, особенно если за этим явлением тысячелетняя традиция.

В некоторых же случаях и форму слова нужно было изменить. Так случилось со многими словами, иногда долго колебались: что предпочесть: *зал, зала, залѳ?* Остановились на форме *зал*: все односложные имена с конкретным значением корня обычно мужского рода, пусть и будет среди них *Светѳый зал*.

Если слово получит русский суффикс, оно также станет похожим на русское. Что такое *ἀγορας*? Греческое слово. А *огурец*? Русское. Так же как *огѳрок* украинское. Все равно какой суффикс уменьшительного значения мы прибавим к греческому корню, *-ѳж* или *-ѳц*, важно, что слово получило знакомую и привычную форму и стало вполне пригодным для нашей речи. Свои и чужие слова иногда так похожи по звучанию, что их трудно различить. Слу-

шаешь греческого огородника, как он говорит: *агурос*, и кажется, будто *огурец*.

Изменив свою форму, приспособив ее к русскому языку, варваризм, чужое непонятное слово, становится заимствованием. Потом мы настолько к нему привыкаем, так часто используем, что и помыслить не можем, что когда-то было оно чужим, это слово. И живет оно в нашем языке, как природное наше слово, изменяется так же и стареет. Со временем может стать архаизмом и кануть в Лету. Многие же слова так никогда и не стали вполне русскими, сразу перешли в разряд архаизмов. Появились у нас в петровские времена *вокабула* и *виктория*, а теперь мы встречаем их разве что в историческом романе. Лучше вместо них сказать по-русски: *слово*, *победа*.

Да и вообще в родной речи всегда лучше сказать по-русски, чем использовать чужие слова. За чужим словом — чужие мысли и чувства, а русское слово и понятнее, и чувство передает свое. Да, я не оговорился: язык отражает не только смысл мысли, но и чувство, а это важно в момент общения.

Говорят все чаще: *привет!* *пока!* А то и добавляют совсем непонятно: *адью!* *гуд бай!* *чао!* Каков смысл этих слов-пришельцев? В устах русского человека это знаки прощанья, формулы вежливости — и только. И русские по виду слова *привет* и *пока* — всего лишь переводы иноязычных слов. Русское слово встречи-прощанья не столь легковесно. Вздыхалось оно из глубин народного духа веками, пока к XVII столетию не отлилось в уважительные и крупные *здравствуй* — *прощай*. При встрече — пожелание здоровья: *будь здоров ты!* При расставании — просьба простить, если чем-то обидел. А сколько за этим скрыто, как много осталось между словами! *Прязнь*, уважение — *жизнь*. И ясно, что за человек с тобой говорит...

Вот почему так не просто заменить русское слово.

Рассказ одиннадцатый

О ТОМ, ОТКУДА БЕРУТСЯ СЛОВА И ЗАЧЕМ НАМ НУЖНЫ ВСЕ НОВЫЕ

Но самое главное средство увеличения числа слов в языке — это, конечно, словообразование. Новые слова создаются от уже известных с помощью разных приставок и суффиксов, и чем ближе к нашему времени, тем шире и охотнее пользуемся мы этим способом создания слов.

Для многих слов, образованных в древности, теперь иногда и сложно отыскать исходный корень, настолько они разошлись — родители и дети. Часто это старое слово, к которому некогда приставили суффикс, а потом и забыли, что был суффикс, и вот перед нами нечто новое, не связанное с исходным значением корня. Скажем, глагол *гореть* мы никак не связываем с существительным *горе*, а они-то и есть «дитя» и «мать».

Другие же слова веками обрастали все новыми и новыми суффиксами, так что теперь трудно вычленишь в них суффиксы и корни. В школьном словообразовательном словаре указаны тысячи слов, которые кажутся самостоятельными, хотя на самом деле по своему происхождению они всего лишь «дети», «родители» которых и сейчас еще живы. Вот сложное слово *действительность*. Словарь подсказывает: корень *действительн-*, суффикс *-ость*, потому что слово образовано от прилагательного *действительный*. Похоже на правду. Но мы ведь знаем, что есть и суффикс *-тель*, значит, можно выделить и основу *действи-*; мы знаем и то, что есть суффикс *-ств*, значит, можно выделить корень *дей-* (*действие*) и так далее. В наше время *действи-*

тельность действительно не связана с *делом*, но когда-то, сотни лет назад, когда создавалось наше слово, и *действие*, и *дело*, и *действительность* образовывались от одного корня, который сохранился в наших глаголах *де-ть*, *о-де-ть*, *раз-де-ть*. Нужно заняться специальным исследованием, чтобы обнаружить этот корень, раскрыть его исходное значение и звучание. Теперь же все это разные слова.

Наиболее известными у славян являются имена с суффиксами, которые теперь мы воспринимаем как уменьшительные. Появились такие суффиксы в глубокой древности, когда еще и славян как особого народа не было. К основе слова присоединялся суффикс *-к*, и каким гласным кончалась основа, такой и стал частью нового суффикса, примерно так: *хорь* + *к* + окончание *ъ* — получилось слово с суффиксом *-ьк* в нашем слове *хорёк*. Или так: *земь* + *к* + *ъ* с обязательными для древнего славянского языка фонетическими изменениями, после чего возник суффикс *-ьц*, и слово *земьцъ* — знакомое нам по современному сочетанию с наречием *ту*: *туземец*, т. е. 'абориген'. Долгое время никакой разницы в значении между суффиксами *-ик* — *-ок* — *-ьк* — *-ьц* — *-ьк* и др., возникшими таким образом, фактически не было; суффиксы видоизменялись в зависимости от окружающих их гласных и согласных, приспособлялись к ним в своем произношении. Если корень оканчивается на согласные *г*, *к*, *х* (*рог*, *орех*), то суффиксом может быть лишь *-ок* или *-ек* в зависимости от ударения (*рождѣк*, но *орѣшек*); если же корень оканчивается на шипящие согласные (*нож*), то суффиксом может быть только их вариант *-ик* (*ножик*). Впечатление такое, будто значение новых слов подчинялось их произношению.

Долгое время такое положение языком никогда не терпится. Ему не нужны почти похожие суффиксы с одним и тем же значением. Он обязательно придаст суффиксам новое, только им присущее значение, рачительно разложит по полочкам смысл их и превратит новое значение суффикса в обязательное для всех слов, которые его используют. А если этого не получится, язык со временем утратит ненужный ему дублет.

Все перечисленные выше суффиксы, несмотря на их первоначальное сходство и даже общее происхождение, остались. Все по какой-то причине оказались нужными.

Если посмотреть словари древних слов, окажется, что

в разное время наши суффиксы были неодинаково важными. Чем дальше в глубь времен, тем больше находим слов с суффиксом *-ьц*, тем меньше с суффиксом *-ьк* и почти нет слов с суффиксом *-ик*.

Много слов с уменьшительным значением: *стольць*, *дворьць*, *возьць*, *гвоздьць* — маленький стол, маленький двор, маленький воз, маленький гвоздь. Однако не просто маленький, но и по качеству еще какой-то: ведь слово с суффиксом новое, оно обязательно должно было и что-то другое называть. Скажем, немного похуже на большой стол, на большой двор, но вместе с тем и нечто другое, новое, не обязательно тот же стол или двор. Иначе не было бы смысла заводить всю эту сложную канитель и обременять память ненужными словами.

Вот и действительно получается, что *стольць* — это 'стул, сиденье' в отличие от *стола* и даже от *пре-стола*; *дворьць* — это совсем не маленький невзрачный двор, а, напротив, красивый, нарядный двор; *возьць* не только маленький воз, но и тот, кто занимается извозом; *корабльць* не просто маленький корабль, и вообще не корабль, а лодка; *хлевьць* не маленький хлев, где держат скот, а и вовсе поле, луг, на которых тоже держат скотину, но только во время выпаса; *гвоздьць* не маленький гвоздик, потому что *гвоздь* — это вовсе не 'гвоздь', а лес, 'острые вершины елей', например, так что *гвоздьць* — это и есть наш теперешний 'гвоздь', своим острием немного похожий на пики елей (когда-то *гвоздьцы* и тесали из дерева, и только потом они стали железными).

А тут еще ворох других слов, вообще потерявших древний корень, так что и неясно, с чем связать слово, имеющее суффикс *-ьц*: *отьць*, *пальць*, *пърьць*. Один из речи начинающих говорить младенцев (*та-ат-та-тата*), другой как будто и сохранился, но в странном слове (*ше-сти-мал-ый*), третий вообще исковеркан при заимствовании из чужого языка, потому что наш *перец* — та же *пиприка*, и состояло это слово из четырех слогов, хотя только последний был славянским: *пъпърьць*.

Со временем с тем же суффиксом *-ьц* стали образовываться имена от глагольных корней и от имен прилагательных. Вот они-то и вовсе не имели уменьшительного значения, а служили для указания на действующих лиц. *Борьць* — тот, кто собирает дани, подати; *дильць* — тот, кто занимается делом, по-нашему 'мастер'; *жилць* — тот,

кто живет на хозяйской земле и кормится с нее, арендатор; *жрецъ* — тот, кто приносит в жертву богам дары; *слепецъ* — тот, кто не может видеть, лишен зрения; *змѣецъ* — эфноп или дьявол. Посмотрите: ничего общего с нашим и нынешними борцами, дельцами, жильцами и слепцами. Каждое слово имеет одно, всегда точно определенное значение, ни уменьшительное, ни уничижительное. Оценочных слов по личным качествам человека до XV века в русском языке вообще нет; назвать кого-нибудь глупцом наш предок никогда не решился бы.

Поэтому и *нѣмьць* — не германец, как теперь мы понимаем это слово, а всякий, кто говорит неясно, непонятно, и е м о й. Ничего высокомерно уменьшительного, никакой раздражительной уничижительности в этом названии не было. Простое утверждение: немой.

И поскольку не было в этом названии всякого иноземца ни уменьшительной, ни уничижительной нотки, значение слова смогло постепенно расширяться до обозначения 'иностранец', а потом стало обозначать только германцев. Для обозначения же немого человека стали употреблять другое слово с родственным суффиксом, но с окончанием не мужского, а среднего рода: *немкѣ*. Вот тут уменьшительно-уничижительное значение уже как будто присутствует.

До сих пор мы говорили о древних славянах и древнерусском народе, примерно до XV века, а в этом веке положение изменилось. Если прежде суффикс *-ьц* и выполнял в некоторых случаях роль уменьшительно-ласкательного (вспомним: *стольць*), хотя и в качестве второстепенного, дополнительного значения, теперь на эту роль был предназначен суффикс *-ьк* — вот как в слове *немкѣ*. В отличие от прежнего суффикса *-ьц* этот суффикс имеет хотя и неполное, но зато самостоятельное и вполне определенное значение уменьшительности, которое всегда ощущается.

Что это так, и сегодня легко понять из сравнения хотя бы таких слов, постепенно сменявших друг друга:

возьць, а затем и *возькъ* и наконец — *возикъ*;

гвоздьць, а затем и *гвоздькъ* и наконец — *гвоздикъ*;

дворьць, а затем и *дворькъ* и наконец — *дворикъ*;

спотьць, а затем и *спотькъ* и наконец — *спотикъ* и т. д.

Слова с суффиксом *-ик* обычны уже скорее для современного русского языка, причем литературного языка; начиная с XVIII века они почти полностью заменили слова

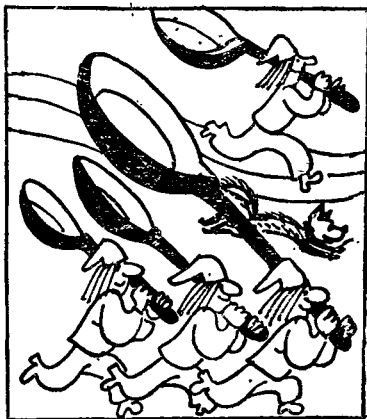
с древними суффиксами «уменьшительного» значения *-ыц* или *-ък*, потому что единственное значение нового суффикса *-ик* — обозначение уменьшительности. Чистой уменьшительности, и ничего больше. Никаких примесей других значений, определено и точно только уменьшительность. В самом деле, *возыцъ* не только маленький воз, но и возчик — действующее лицо; *возъкъ* не только маленький воз, это еще и любой экипаж, например маленькая карета; *возикъ* же — просто маленький воз, и ничего более.

Так в постоянной смене аффиксов происходило и происходит распределение разных значений между различными суффиксами: этот образует новое слово, а вот этот — новое, уменьшительно-ласкательное значение! Раньше многие дополнительные значения слов совмещались в каком-то одном суффиксе, но со временем они разъединились, стали самостоятельными, более четко представляют свое собственное и только им присущее значение. Неопределенность слитности сменилась четкой перспективой оценочных качеств.

Вчитываясь в произведения устного народного творчества, найдем некоторую разницу между различными его жанрами. В лирической песне, сложенной в XV—XVIII веках, идея уменьшительности и ласкательности передается обычно суффиксом *-ок*: *милок*, *соколок* или даже уже *сокол-лик*. В былинах же, которые складывались в Древней Руси гораздо раньше лирических песен, эти суффиксы встречаются редко, вместо них былина предпочитает старый суффикс *-ыц*, вспомните: *добрый мблodeцъ, удалой сокблецъ*. Что было обычно для речи русского народа в тот момент, когда создавались былины, а затем и песни, то и сохранилось, навечно впаянное в древний текст. И мы, читая его теперь, изумляемся поэтичности слова. На самом же деле былинный *мблodeцъ* не уменьшительное значение слова вроде более позднего *молоденький*, а простая констатация: перед нами молодой человек, а не старик, не старец, убеленный сединами. Да и слова с суффиксом *-ък* (теперь это суффикс *-ок*) получили значение уменьшительности не сразу.

Сохранилось множество слов, обозначающих посуду, которой теперь давно нет: *дельвы, кобель, лукно, уборокъ, оковъ, капъ, ночва, съпудъ, дежа, укня, чумъ, кърчагъ, латъва, чъванъ, плоскы, скудель, удоробъ* и др., но *бочка, кадка, корецъ, чашка, ковшик, сковородка, ложка, миска, кубок* и *чарка* остались. Остаться-то остались, но только те,

что с уменьшительным суффиксом: не бочва, а бочка, не кадь, а кадка... Даже ковш и сковорода предпочитают быть ковшиком и сковородкой. Даже заимствованные слова вроде ложница, миса и чара как будто уменьшились со временем и стали ложкой, миской и чаркой. Они действительно с течением времени в сознании человека уменьшались, становились не столь уж важными в быту и в общей перспективе



жизни, постепенно занимали свойственное им место в ряду прочих окружавших человека предметов. В этом все дело. Не огромные чары и мисы, из которых пили и ели былинные богатыри, стали меньше — просто люди перестали считать это самым существенным смыслом быта и бытия. Нашлись дела поважнее...

В современном русском лексиконе более тысячи слов с суффиксом *-ец*, в том числе и совсем новых, таких, например, как *обломовец*. Обычно все такие имена обозначают лицо, следовательно, в наше время уже полностью утратили прежнее значение уменьшительности.

А самое главное, конечно, вот что. Идея уменьшительности возникала в сознании наших предков постепенно, по мере роста их силы, их знаний, их языка. Что же касается неодобрительной стороны уменьшительного значения, уничижительности, она рождается не из уменьшительности, а из ласкательности, и неизвестно, в какой момент и по какой причине. Все маленькое вызывает жалость — и неодобрение, и где та грань, за которой жалость перерастает в неодобрение? *Река* → *реч-ка* → *реч-ень-ка* и *реч-он-ка* → *реч-он-оч-ка* и *реч-он-уш-ка*: в каждом повороте мысли с добавлением нового суффикса сразу два полюса: и плохое, и хорошее. Они так динамически связаны друг с другом, так сплетены в один узелок одним и тем же суффиксом, что их не разграничить. И чем древнее суффикс, чем ближе он к разговорной речи, тем больше у нас желания связать с ним значение уменьшительности. Действует

закон перспективы: чем привычнее, тем мельче. Можно даже заметить одно свойство суффиксов, в которых прежде находился согласный *-к-*: один суффикс с этим согласным придает слову значение уменьшительности, два — ласкательности, три — уже уничижительности, вот как в словах с древним набором суффиксов: *лод-ия* — *лод-ьк-а* — *лод-ьч-ьк-а* — *лод-ьч-ьн-ьк-а*. Похоже, что и значения наших суффиксов развивались в такой же последовательности, одно за другим: сначала просто ‘маленький’, затем и ‘миленький’ (потому что маленький), а уж в конце-концов и ‘пехороший’ (видимо, слишком маленький): *лодка* — *лодочка* — *лодочка...*

Возьмите любой словарь. Десятки и сотни образований от одного и того же корня с разными суффиксами у слова растут, как на дрожжах. Уже не один суффикс *-к-* во всех своих вариантах, а десятки суффиксов с самым разным значением и различного происхождения.

Особенно богатые ряды однокоренных слов образуют старые слова, те, которые находятся в обращении много тысяч лет. Появление новых суффиксов всегда чуть-чуть сдвигает прежнее значение в корне, видоизменяет его, увеличивает его внутренние возможности. Посмотрим на это явление, взяв для примера корень *дуб*.

В древности, тысячи лет назад, у индоевропейских племен этот корень обозначал дерево вообще, всякое дерево. Но, поскольку особое почтение они испытывали именно к дубу, считая его деревом священным (там пребывал верховный языческий бог грома и молнии, когда посещал землю), высокое старое слово и осталось за этим деревом, как его собственное название. Самые надежные, освященные присутствием Перуна, жилища и корабли делали из дуба, поэтому в древнегерманском и древнегреческом этот корень связан со значением ‘строительный лес’ или ‘жилище, комната’. На другом краю Европы, на севере, в русских говорах сохранилось старое значение слова *дуб* — ‘лодка-однодеревка’, и совсем недавно исчезло значение, связанное с ритуальным «жильем»: умирая или погибая в битве, славянский воин должен быть положен в выдолбленную из цельного дерева ладью и отправиться на высоком костре в долгое плавание к богу огня Перуну. Эта ладья — тоже *дуб*.

Когда *дуб* означало еще дерево вообще, появилось древнейшее его производное *дубрава*. Это всякий лес,

не обязательно дубовый. Появились и другие слова, которых в современном языке уже и нет, например: полабское слово *дубрянка* — ‘чернильный орешек’ (из таких орешков раньше готовили настоящие черные чернила); балтийское слово *дубис* — ‘дубильная кора’, потому что обозначало важное средство для дубления кож; тогда же появилось и *душло* — ведь душло может иметь любое дерево. На древность всех этих слов указывают и их старшие суффиксы с изменившимися подчас формами самого корня.

Шло время, люди осознавали разницу между различными породами деревьев, да и новые слова с суффиксами подталкивали к тому, чтобы связать старое слово с каким-то одним, конечно же, наиболее почитаемым деревом. Но все священные, ритуальные значения слова еще и в Древней Руси связаны были с древними представлениями о дубе: сделали *дубок* или *дубовину* из сосны или березы, а поминали *дуб*. Ничего не изменилось, все осталось прежним: и дерево, и изделия из него, а значение корня отчасти изменилось. Теперь дуб стал дубом.

И новые ряды слов с другими суффиксами вошли в язык, уже не всегда обозначая собственно ‘дуб’: *дубок*, *дубочек*, *дубняк* и *дубьё*, *дубец* — хворостина и *дубина* — толстая палка, а потом *дубовый* и *дубоватый*, и глаголы *дубасить* и *дубить*, каждое со своим кругом значений и своими собственными производными — *дубоватость*, *дубовато*, *дубильный*, *дубленка* и десятки других, в том числе и уменьшительно-ласкательных: *дубнячок*, *дубинушка*, и сложных, вроде *дубоносик*, *дуботолк*, да еще и вторично производных, вроде *дубовик* (название гриба) — словом, всего около полусотни слов, а в говорах сохранилось и того больше, а по всем славянским языкам таких производных, возникших в разное время, наберется за сотню. Каждое из них отражает какой-то этап в развитии слова и вместе с тем указывает на совершенствование средств речи, на изменения в сознании наших предков. Если учесть и вторичные, перепосные метафорические значения всех этих слов, окажется, что в разговорной речи можно было бы обойтись одним этим корнем, во всех его видах, и притом передать любую простую мысль: и сообщение, и радость, и укоризну.

Рассказ двенадцатый

О ТОМ, КАК НАШИ ПРЕДКИ ДУМУ ДУМАЛИ

Развернем хрусткие листы древней летописи. Куда ни глянь — битвы, пожары, мор. Тяжелая жизнь. Страшно и горько. Князья-братья не только врагов — друг друга томят, режут и жгут. Зависть и злоба движут ими: каждый хочет быть единственным. А сколько бед происходит оттого, что не могут они сговориться меж собою и вместе пойти на врагов. И неудачный поход Игоря Святославича, и кровавая битва при Калке (когда погиб Алеша Попович), и монгольское нашествие — все печали от этого.

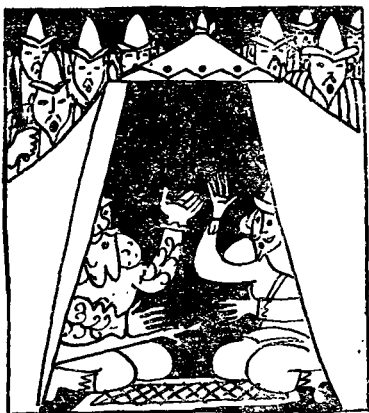
...1093 год. После смерти киевского князя Всеволода начались раздоры между его преемниками Владимиром и Святополком. Раздоры странные: «Володимер начал размышляти, говоря: если... то... как...» (пока я нарочно не привожу смысла его рассуждений — важно условие и темп этих рассуждений). Святополк занят тем же: «Не сдумав со старшею отцовскою дружиною», а собрал совет своих собственных, приближенных дружинников. Сидят... размышляют... думают. Тем временем хлынули на Русь дикие кочевники половцы, решили поживиться. А князья? Сидят... размышляют... думают. «Мужи смыслени» (разумные мужчины) говорят: «Не воюй — у тебя мало войска». «Мужи несмыслени» — наоборот: «Пойди, княже!» После долгих разговоров собрались все князья вместе: и Святополк, и Владимир, и юный Ростислав. Уже видны за рекою враги, а чем заняты князья? «Созваша дружину свою на совет... и начаша думати». Одни хотят идти по пра-

вой стороне реки, другие — по левой. Ничего не надумали, каждый пошел, как пожелал.

А половцы сначала разбили Святополка, затем взяли за Владимира, и «бысть брань лютая». 26 мая в половодье юный Ростислав тонет в Стугне-реке на глазах брата. Половцы обступили Русь. Беда и скорбь.

Не буду еще раз говорить о княжеских распрях и взаимном недоверии, дорого обошедших Русской земле. Нас интересует другая сторона всех этих размышлений и дум. Обратите внимание на действия героев рассказа — они думают. Значение этого слова не совпадает с современным: *думу думати* — ‘держать совет’. Князья размышляют поодиночке, совместно и в присутствии советников. Это очень важный процесс, *думу думати*. И очень сложный, если представить себе, какими средствами языка могли воспользоваться для этой цели в XI веке. Попробуем представить себе тогдашнюю думу.

Владимир начал размышлять, говоря: «Аще сяду на столе отца своего, то имам рать со Святополком взяти, яко есть стол преже отца его был», что значит: «Если я сяду на престоле отца своего, то придется мне воевать со Святополком, так как прежде этот престол принадлежал его отцу (и потому именно Святополк является наиболее правомочным наследником)». Очень строгие причинно-следственные связи, и вы легко разберете это предложение синтаксически. Но только в переводе, в котором к главному предложению относятся придаточные условия и причины. А вот что касается оригинального текста... *Аще... то... яко...* Начать с того, что *аще* вовсе не обозначает ‘если’, а *яко* вовсе не ‘как’. Опять мы оказываемся перед глухой стеной неведения, стоит только окунуться в глубь веков. Все слова как будто понятны, похожи на современные. Но все-таки когда-то, давным-давно, тот же набор слов воспринимался совсем иначе.



Начнем с *аще*. Это заимствованный книжный союз, его мог употребить грамотный книжник, отшлифовывая в летописном изложении «неприбранную» речь или мысль князя. В русском языке XII века союз этот мог употребляться, но очень редко, в литературно обработанных, юридически важных текстах. И произносился он иначе, на русский лад, не *аще*, а *яче*. В русском языке такому *яче* обычно не соответствовало *те* главного предложения. Следовательно, «по-русски» надо было бы сказать (*яче*)*сяде на столе отца своего — имам рать со Святополком взяти*. Никаких слов-стычек в древнем русском говорении нет, синтаксический смысл предложения передается иначе, порядком слов и интонаций. Попробуем переставить предложения: *Имам рать со Святополком взяти — сяду на столе отца своего*, — и сразу же все отношения зеркально переменялись. Теперь первое предложение является условным, а второе — главным:

‘Если сражусь со Святополком — сяду на престоле отца своего’. Вполне возможно, что агрессивный князь именно в таком порядке и «думал», этого-то уж мы никогда не узнаем.

Дальше — *яко*. И тут снова полная неразбериха. Потому что с этим *яко* мы при желании можем соотнести почти все современные наши союзы и союзные слова. Каким хочешь, таким и переводи! Судите сами по следующим летописным текстам (которые повествуют о других русских князьях):

Разуме(л) Ярослав, яко в ночь велит сечися — здесь зависимость от глагола *разуметь* диктует выбор перевода с *что*: ‘что велит в ночь сражаться’;

Рече же им Ольга, яко яз мстила уже обиду, — а здесь косвенная передача прямой речи, и *яко* мы должны понимать как ‘что, мол’: ‘что, мол, я уже отомстила за свою обиду’;

Бысть гром велии яко слышахом в избе сидяци — *яко* относится к глаголу *быть* и потому переводится еще с одним значением: ‘так что слышали (даже) сидящие в избе’;

Сдумаша яко изгонити князя своего — единственно возможное значение *яко* в этом тексте связывается с нашим *чтобы*: ‘чтобы изгнать своего князя’;

Не восхоте(л) противитися брату своему... яко велики бои держа в руку своего, что значит: ‘Хотя и много было

(у Бориса) воинов, но он не желал противиться воле старшего брата';

Большого посетите... яко вси мертвени есмы — здесь можно перевести по-разному: так как, ибо или потому что — в одном и том же значении.

Если к этому добавить, что *яко* мог выступать и в качестве наречия, и в качестве определения, положение еще больше усложнится. Такая неразбериха, что дальше некуда. И верно, ведь если один «союз» имеет почти все значения современных различных союзов — он вовсе не союз в нашем теперешнем понимании этого термина. Он не служит «скрепой мысли», подобно нашим словам *что, так что, так как, хотя, чтобы, потому что* и так далее. Он так же безразличен к значению предложения, как и широко распространенные в то время «сочинительные» союзы *и, а, да, но...* «Сочинительные» в кавычках, потому что, если в языке нет никаких подчинительных союзов, можно ли говорить о сочинении? Ведь разделение чего-то всегда происходит на основе противопоставления, а в данном случае никакого противопоставления подчинительных союзов сочинительным и нет. Ровная гладь одинаково важных и вместе с тем совсем не важных благодаря своей многозначности союзов. Единственное их назначение — показать, что именно на них, на этих словечках, происходит стыковка двух предложений, двух отрезков мысли, связанных друг с другом единством задачи. А все наши «переводы» на современный язык основаны не на реальных значениях «союза», а на логической, внутренне осознаваемой каждым из нас связи между данными предложениями. Для внешнего выражения таких логических связей теперь мы имеем вполне определенные слова, которые и подставляем в старый текст по необходимости. Это не перевод, конечно, а осмысление древнего текста.

Значит, мы п р и п и с ы в а е м древнему тексту то, чего в нем нет. Мы делаем его совершеннее. И тем самым приближаем к нашему времени, желая понять сказанное восемь веков назад. А в результате искажаем трепетные, неопределенные, неуловимые связи древнего мышления.

Оно было однопланнным и четким, это мышление. Слова следуют друг за другом, не обгоняя друг друга, не выпячиваясь, не заслоняя других слов, как и теперь в разговорном языке. Еще Афанасий Никитин — купец и путеше-

ственник XV века — свои впечатления о мире описывал таким образом:

«Тут есть Индейская страна и люди ходят наги все а голова непокрыта а грудь гола а волосы в одну косу плетенны... а детей у них много а муж(чин)ы и жен(щин)ы все черны и яз хожу куды ино за мною людей много дивятся белому человеку».

Не удивляйтесь отсутствию знаков препинания — у Афанасия Никитина по тогдашнему обычаю и слова-то не отделены на письме друг от друга, не то что мысли. Попробуйте сами в этом «потоке описания» выделить предложения и их типы, какими они должны быть (с нашей точки зрения, конечно). Помните только, что *ино* — это *то*, а *а* и *и* одинаково обозначали союз *и*, потому что разницы между соединительными и противительными союзами также еще не было.

Итак, вот какими были предложения в древности. Они создавались в мысли своеобразным «присоединительным усилием»: сколько силы и впечатлений хватит, столько и присоединяй! Это именно присоединение, а не сочинение, как можно было бы подумать, видя знакомые нам союзы, и тем более это не подчинение.

Сочинение предложений возникло тогда, когда сформировалось подчинение предложений, когда появились в языке сложноподчиненные предложения. Однако формирование этих последних происходило очень медленно, постепенно, этап за этапом. Многие люди участвовали в этом важном процессе: художники слова и тонкие его ценители, законодатели и мыслители. Потому что язык — это общее достояние и изменяется только трудами многих. Нам не хватит времени разобраться в сложном и запутанном процессе рождения новых синтаксических типов и связей — своеобразных штампов мысли, пригодных для разных случаев и для всех говорящих. Но один случай мы все-таки рассмотрим.

Раньше всего в русском языке развились придаточные условные предложения. Сначала это были даже и не придаточные. В разговорной речи рождается вопрос, за ним следует ответ, просто вопрос и ответ, вот как в северной грамоте:

Есть ли у тебя, Никитка, пиво?

Ищем да и протимся.

О письменной речи мы уже говорили, там все зависит

от последовательности слов: то, что впереди, — условие, что за ним следует, — следствие, т. е. главное предложение.

Ударит на смерть — вира («Русская Правда»). Читай: ‘е с л и ударит кого-то и убьет, то платить штраф’.

Во всех таких предложениях еще нет придаточных предложений в нашем понимании, однако логическая связь между частями высказывания уже ощущается. И теперь она уже требует словесного выражения, нужно каким-то образом выделить одно из предложений, установив его особую важность в ряду других. И выделяется главное предложение. Выделяется подручными средствами, хорошо знакомыми словами: *а, и, да, ино, то, так* — других-то пока нет. Что же получилось? А вот что:

У тебя, Никитка, пиво, то испьем да и протимся.

Ударит на смерть, то вира.

Все прежние средства выделения остались — и порядок слов тот же, и интонация. Но появилась и некая скрепка — словечко, выделяющее самое главное в мысли, то, что является в этом выражении н о в ы м. Сказано *ударит на смерть* — это констатация факта; а к ней особым порядком слов, особой интонацией, особым вставным словечком присоединяется и т о н о в о е, что вытекает из описанного факта: *то вира*. Последнее сочетание слов и является самым важным следствием соединения двух сочетаний, р а д и н е г о они и сплетены в одно предложение как причина и следствие. *То* здесь очень важное слово, благодаря ему есть за что зацепиться вниманию. Но это все еще не подчинительная связь, ее лучше назвать выделительной, потому что и подчинительного союза здесь еще нет, и многообразные значения придаточного еще не расчленились. Наши предложения, например, совмещают в себе и придаточное условия, и придаточное времени, и придаточное причины.

Условие и время вообще довольно долго не желали расставаться друг с другом. Даже много позднее, уже во времена Пушкина, они могли присоединяться к главному предложению одними и теми же союзами.

У Пушкина в «Борисе Годунове» Шуйский предлагает Воротынскому:

*«Когда Борис хитрить не перестанет,
Давай народ искусно волновать...»*

Слово *когда* здесь явно употреблено в значении ‘если’, временной союз еще выступает в качестве условного.

Этот пример показывает, что даже в новое время на наших глазах происходит все большее расчленение когда-то совпадавших типов придаточных предложений.

Вернемся, однако, в ту эпоху, когда сложное предложение еще не стало сложноподчиненным. Со временем роль скрепок между частями такого предложения стали вместе с союзами играть союзные слова.

Для чего же они понадобились, союзные слова? Ведь «главное» предложение и без того уже выделено союзом.

Такого выделения оказалось мало. Недостаточно показать, что именно главное в предложении. Одновременно с тем нужно было ослабить значение не главного, показать, что оно зависит от главного. Мысли, выражаемые сложным предложением, неоднородны и внутренне зависимы. Это причина — то следствие; это качество — то предмет. И такие отношения нуждались в явном грамматическом выражении, чтобы их признали и ими могли воспользоваться в своей речи все говорящие на русском языке. Предложения, составляющие текст, нужно было выстроить в перспективе, оттеняя реальные связи и действительную последовательность мысли. Не рождающейся, возникающей мысли, а уже сформированной и отточенной, готовой для собеседника.

Но союзные слова нужно сначала создать. И это опять-таки характерно для развития языка, который постоянно сам себя обеспечивает внешними формами выражения.

И вот с начала XVI века начинается бурный рост таких союзных слов. Они создаются из самых различных остатков древних грамматических форм или из маловажных членов предложения. Они образуются обильно и щедро — раз уж нужно, так нужно! Многие из них впоследствии бесследно исчезли, так и не получив всеобщего признания, не став обязательным для всех говорящих синтаксическим средством. Другие стали употребляться ограниченно, только в высоком или, наоборот, только в низком стиле.

Вот примеры. Один уже знаком:

Есть ли у тебя, Никитка, пиво, то испьем да и простимся. Глагольная форма *есть* здесь не очень важна, в соединении с *ли* она и дает сначала союзное слово, а затем и союз *естьли* → *если*. Самый распространенный условный союз, который сохранился до нашего времени: *Если есть у тебя пиво, то испьем...* Второе *есть* появилось позднее и совсем по другой причине.

А вот иной случай — со старым сложным временем, которое называлось «будущим в прошедшем»: *будет пришел*.

Будет пришел холоп ино плетьми бить, что можно перевести буквально таким образом: 'Если к тому времени холоп окажется пришедшим, то его (в наказании) следует побить плетью'. Сложное, ненужное теперь языку морфологическое время разрушилось, слово *будет* оказалось излишним и стало употребляться в новом для него значении. А так как теперь, в новой функции, оно уже не изменялось по лицам и числам, то и окончание для него стало казаться излишним, и форма сократилась до *буде*. Связь с формами глагола в прошедшем времени (*пришел*) стала неважной. Так появились предложения вроде:

А буде пришел холоп... — в прошедшем времени,

А буде не станешь слушать... — в будущем времени — с союзным словом *буде*. А союзным оно является потому, что и с другими словами предложения все еще связано, и соотносится с «союзом» в главном предложении: *буде — то, буде — ино*.

И вот самый последний этап изменения как раз и связан с устранением этих *то, ино*:

Если у тебя пиво — испьем...

Буде пришел холоп — бить плетьми...

Преимущества такой конструкции очевидны. Как ни переверни предложение, как ни меняй слова, главное останется главным, а придаточное придаточным.

Испьем, если у тебя (есть) пиво...

Бить плетьми, буде пришел холоп...

Формирование сложноподчиненных предложений пришло к завершению: взаимная подчиненность предложений выражена чисто грамматически и всегда одинаково. Модель — конструкция языка для всех случаев. Языковой штамп для всех. Модель, которая теперь в свою очередь будет формировать сознание и мысль последующих поколений. Ведь каждый из нас, начиная говорить на родном языке, сразу же опутан сложной сетью представлений и связей, которые кажутся обычными и понятными, потому что они даются нам не в личном опыте, а в языке — незаметно, но на всю жизнь. А за этим незаметным кроются столетия поисков и труда наших предков, постигавших сложные связи в окружающем их мире.

И говорили наши предки иначе, и думу думали не так, как мы.

Рассказ тринадцатый

О ТОМ, КАК ВАЖНО ДУМАТЬ ПО ПОРЯДКУ, И О ПОРЯДКЕ СЛОВ

С^толь странное смещение перспективы, когда неясно, что в высказывании важно, а что — нет, характерно для древнего языка. Для него все одинаково важно: раз уж заговорил человек — значит нужно, значит, мысль, рождаясь в мозгу и облекаясь в словесную форму, созрела и настало время донести ее до слушателя. Некоторые ученые, и физиологи в том числе, считают, что интеллектуально неразвитый человек абстрактно мыслить вообще может только в процессе говорения. Тогда, в словах, формируется и его мысль. Именно поэтому, между прочим, так говорливы дети. Они не просто учатся говорить — одновременно они учатся мыслить — мыслить таким же образом, что и окружающие их люди...

Так вот, о смещении перспективы. Предложение состоит не из слов, а из групп слов, которые соединены друг с другом грамматической связью. Из таких групп — словосочетаний состоит всякое предложение любого языка. Грамматические же связи, склеивающие слова в словосочетания, вам хорошо знакомы — это согласование, управление и примыкание.

Согласование — употребление слов в одной и той же соответствующей форме: *белая роза* — согласование.

Управление формы одного слова формой другого слова также понятно. Начиная говорить: *Вижу...*, я всегда ограничен в выборе формы следующего существительного, например — *...птицу* — это. винительный падеж, *глаза-*

ми — это творительный падеж. Можно еще употребить предложный падеж, но обязательно с предлогом: ...*на дереве*. Именительный и дательный падежи имени после глагола *вижу* невозможны, тогда как винительный, творительный или предложный можно даже совместить в одном словосочетании: *глазами вижу на дереве птицу*. Немного тяжело сказано, но только потому, что на один и тот же глагол навязано сразу три возможных сочетания: *вижу глазами, вижу на дереве, вижу птицу*.

Дом бабушки также пример управления, но только именного. Именительный падеж имени управляет родительным падежом имени. В современном языке вообще много типов управления, которые позволяют представить слова каждого словосочетания в их относительной важности.

Примыкание же как будто ни на какие грамматические связи слов и не указывает. *Иду быстро* — слова поставлены рядом, примыкают друг к другу — и только. Никакой другой формы слова *быстро* не может быть, наречие не склоняется и не спрягается. Эта связь и стала осознаваться как самостоятельная грамматическая связь двух слов только тогда, когда управление противопоставилось согласованию. Вот в чем дело: примыкание слов друг к другу в предложении было всегда, и это неудивительно, поскольку предложение — это последовательность слов. Однако грамматической связью примыкание стало очень поздно. Выходит, в языке могут быть изменения, которые вовсе и не изменения? Совершенно верно, очень часто именно так в языке и происходит.

Давайте посмотрим, каким образом последовательно развивались у восточных славян типы словосочетаний, вернее, связи, склеивающие слова в словосочетания.

Мы начали с того, что когда-то в языке не было ни согласования, ни управления, ни примыкания. Слово просто-напросто становилось рядом с другим словом. Вот вам несколько примеров из старинных текстов, которые отражают разговорную речь наших предков. Прочтем эти тексты внимательно и постараемся вникнуть в логику рассуждения, в движение мысли.

Первый пример: *капуста листие варить*. Это сочетание можно передать таким образом: «*листья капусты варить*».

А вот другой пример: *ехати по берегу по низу*. Его, наверное, и переводить не стоит, и сейчас кто-нибудь впо-

пыхах может произнести такое сочетание слов, которое означает 'ехать внизу вдоль берега'. Здесь, правда, находим несоответствие современному значению слова *берег*. Раньше *берег* — это 'крутой высокий берег реки', поэтому *ехать по низу по берегу* в XVI веке (к нему и относится наш текст) вполне правильное выражение.

Сходство между двумя этими примерами в том, что они отражают одну и ту же форму движения мысли. Для древнего человека часть чего-то не может существовать отдельно, сама по себе, оторванная от целого, и потому в его сознании не выделяется особо. Оттого и говорили *капуста листие* (*варит*), а не *листья капусты* или *капустные листья*. В этом выражении все смешано и все совпадает: *капуста листие* — это и 'капустные листья', и 'сама капуста', 'листья капусты на капустном кочане'. Понятия неразделимы в сознании говорящего, поэтому и слова грамматически не расчленены, как не расчленены низ берега и сам берег в целом.

А теперь скажите: управление это? примыкание? согласование? Слова п р и м ы к а ю т друг к другу и, з а в и с я друг от друга, с о г л а с у ю т с я по форме. Это и согласование, и управление, и примыкание сразу. Язык постепенно, очень осторожно ищет возможностей для выражения логической зависимости одного понятия от другого. К началу XVI века такой возможностью стал порядок слов. Сначала всегда ставится самое главное слово сочетания, оно обычно обозначает общее; затем помещается слово, которое обозначает часть этого общего. И во всех других примерах, которые мы еще рассмотрим, соотношение между главным и второстепенным таково же. Однако насколько неопределенно, расплывчато это соотношение между словами! Лишь условно можно говорить о том, что перед нами действительно синтаксическая связь двух слов.

Тем не менее есть и нечто новое, по сравнению с более ранними, еще дописьменными временами. Новое в том, что это неопределенное и расплывчатое о т н о ш е н и е очень условно по самому своему характеру, но тем не менее оно используется всеми говорящими на русском языке. В самом деле, можно ведь принять и обратный порядок слов, сначала часть, а затем целое, т. е. не *капуста листие*, а, наоборот, *листвие капуста*. Именно такова последовательность этих слов в современном нам русском

языке. Но язык выбрал то, что выбрал, а эта условность и обязательность выбора конструкции и есть первый шаг в развитии грамматических связей. Общеобязательность, принудительность выбора это уже язык, а не речь.

Похоже на печатание фотографий. Вот в ванночке с проявителем показались контуры снимка. они — уже почти готовая фотография. Все есть: и четкость, и глубина изображения, и рамка. Но есть только для вас, сидящего перед увеличителем. Другие никогда не увидят этой фотографии, если вы не промосте отпечаток и не закрепите изображение как следует. Так и в нашем случае. Развитие человеческой мысли дошло до осознания разницы между частью и целым, а грамматика еще не давала средств закрепить это открытие, сделать его всеобщим достоянием. Смысловой центр сочетания выделен, а грамматический еще нет. На первых порах стали связывать центр мысли с началом сочетания, но ведь и начало-то сочетания тоже относительное понятие, в быстрой речи и не уследишь, где оно. Требовались какие-то более определенные рамки выделения. Какие именно, об этом потом, а сейчас еще несколько примеров.

Вот такой: *куплены нити на шитье на шубы* 'куплены нитки на шитье шубы'. Действие (*шитье*) и объект этого действия (*шуба*) выступают как равноправные элементы мысли.

И еще: *сено косят болотце* 'сено косят на болотце'. Объект действия и место его нахождения также равноправны по отношению друг к другу. *Сено на болотце — сено косят — косят болотце*. Мысль не одна и не закончена. Перед нами как бы параллельное движение мысли, захватывающее все предметы и действия и выстраивающее их в общий ряд.

Но то, что я сейчас сказал, относительно просто; легко сообразить, о чем здесь речь. С тем же *сеном* может случиться история и посложнее. Не угодно ли?

Того же дни взято у крестьян у запольских за пожню за рель за сено за греблю и за метание и за вожение за 101 год 6 рублей московских.

Что же тут главное, что — неглавное? За голову схватиться. Перед нами, разумеется, не однородные члены предложения, как может подумать всякий, незнакомый со значением приведенных слов. *Пожня* — место, где косят или жнут, *рель* — заливной луг у реки, где бывает

самая лучшая трава, а следовательно, и сено. Остальные имена существительные обозначают последовательные этапы работы: сено нужно сгрести (*гребля*), сметать в стога (*метание*) и вывезти (*вожение*). (7)101 год по старому летоисчислению, по-нашему это 1593 год. А теперь будьте внимательны: семь сочетаний с предлогом *за* мы можем разделить на три группы не связанных друг с другом слов.

За 101 год — это само по себе сочетание указывает на время действия. Такие сочетания и теперь обычны, например: *тройка за первое полугодие*.

Вторую группу сочетаний выделяет сам писец, он дважды пишет *и за*. Значит, в его представлении *гребля*, *метание* и *вожение* объединены как части общего действия (...и ...и). Все остальные части текста легко членятся — легко для читателя конца XVI века, но с трудом для нас. Хотя и для нас древние представления, выраженные такими сочетаниями, уже частично понятны. Это часть и целое (*за пожню за рель* значит 'за пожню на рели'), действие и его объект ('за греблю, и за метание, и за вожение сена'). Новым для нас является то, что действие и время протекания этого действия (*за сено за греблю... за 101 год*), как и во всех прочих случаях, не зависят друг от друга: действие само по себе, и время действия также само по себе, объект действия опять-таки сам по себе, а вот часть и целое — нет: часть — всего лишь часть целого, и разъединить их ни в коем случае нельзя.

Да и порядок следования главного и неглавного здесь уже переменялся. Такая перемена вполне допустима, поскольку все предложение нашпиговано предлогами и каждый член этого предложения отделен от другого предлогом. Итак: '...за пожню на рели, а также за греблю, метание и вожение сена в течение 101 года...' Расшифровка текста отняла у нас не так уж много времени, что же касается его автора, то ему и без того все было ясно, как день: кто же вокруг него не знает, что такое *рель*, что такое *метание*!

Вот так, довольно плоско, видел мир наш предок...

Плоско? Это как смотреть. Если в высказывании все одинаково важно, но все-таки важно, настолько важно, что даже предлог для всех слов избирается один и тот же, можно ли говорить о невыразительной плоскости? Может быть, наоборот, чрезмерная выпуклость изображения?

Наш предок видит мир выпукло и четко.

Однако этот графически четкий мир предстает перед нами в каком-то нестройном виде, внутренние связи между лицами и предметами, между предметами и действиями, между качествами и предметами видятся как-то неопределенно и передаются приблизительно и описательно. Они еще не стали фактом всеобщего знания, не оформились грамматически.

Весь народ в целом, не отдельные выдающиеся люди, а все говорящие на данном языке такое знание о внутренних связях окружающего их мира получают прежде всего из языка. О том, как постепенно и неуклонно в грамматике откладывались крупицы знаний о мире, становясь привычной формой мышления для всех носителей этого языка, можно судить на примере самых простых сочетаний, обозначающих предмет и его качество.

Горит свеча воск яр — цепочка слов с постепенным понижением их смысловой ценности. Важнее всего то, что *г о р и т*. Затем, *ч т ó* горит. *Горит свеча* — какая? *Из воска*. А каков этот воск? *Ярый*. Теперь ту же иерархию, соотношение предметов и их качеств, мы передадим иначе: *горит свеча ярого воску*. Грамматически все изменилось коренным образом.

Почему?

Для удобства сократим наше предложение — на время лишим его глагольной формы (глаголы-то могут быть самые разные). У нас останется:

Свеча воск яр.

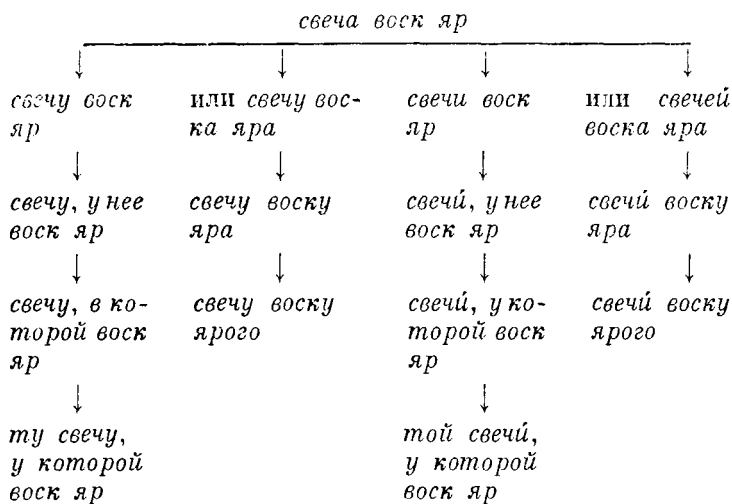
Это обычное для славянских языков назывное предложение, причем по характеру сочетания слов — самого древнего типа. Человек называет предмет и его качество простым присоединением слов в назывной форме и самим перечислением как бы сопоставляет в мысли одно с другим: *свеча... воск* (из которого сделана свеча)... *яр* (способ, каким свеча сделана из воска: воск вытоплен на огне). Грамматически эта связь никак не передается, поэтому столь нечетко здесь различие между главным и второстепенным, между предметом и его качеством. Как только в сознании возникла необходимость словесно обозначить разницу между предметом и качеством предмета, достаточно было одного единственного смещения формы, вот такого, например:

на свече, воск яр —

основное для мысли слово изменяется по формам, а все остальные слова сочетания — нет, они остались в прежней

форме именительного падежа. Эта форма на фоне изменчивого главного слова как бы застыла, подчеркивая, что в каждом новом сочетании речь идет об одном и том же качестве предмета. Смотрите: *свечи воск яр*, *свечу воск яр*, *свечой воск яр...*

От этого камешка, брошенного в тихую заводь, пошли круги. В сотнях сочетаний, возникающих при изменениях основного слова, продолжают поиски способов выразить мысль более точно. То изменяется форма зависимого слова, то вводятся указательные слова, союзы или предлоги. Приведем лишь несколько из бесчисленного количества вариантов:



В большинстве таких сочетаний конкретизируется и уточняется отношение качества именно к данному предмету: *свеча, у нее воск яр*. Для других сочетаний важно качество само по себе, оно осознается как постоянное для этого предмета и выражается формой родительного падежа со значением принадлежности: *свеча воска яра* — здесь подчеркивается, что свеча именно восковая (а не салная, например).

Последующие варианты, как видно из схемы, связаны с морфологическими изменениями. И эти изменения тоже помогают уточнить мысль. Форма родительного падежа *воску* выразительнее указывает на материал, из ко-

торого сделана свеча, чем форма *воска*, в которой сохраняется значение количества. Форма *ярого* более определена, чем форма *яра*, потому что указывает на постоянный признак. (И в современном русском языке полные прилагательные по преимуществу выражают постоянный признак предмета, а краткие — временный, преходящий. Сравните: *Наша река спокойная* — *Сегодня река спокойна*.)



Так в конце концов отношение между предметом и его качеством получили грамматическое оформление.

Характер грамматических связей между словами не остается без изменений. Все время неустанно развиваются новые их типы. Вот, например, управление.

Еще совсем недавно, в XVII—XVIII веках, управление не было окончательно и бесповоротно установившейся грамматической связью слов. Слишком многое зависело от значения слова, от характера предлога, от сочетания с другими словами — с одним одна связь, а с другим — другая.

Какая приставка при глаголе, такой и предлог после него. Это правило действовало как закон. *Пойти* — обязательно *по... воду*. *Зайти* — только *за... водой...* *Выйти* — непременно *в... поле*. *Сойти* — *с... горы* или еще *с... чего-нибудь*. И т. д. В современном языке возможны варварские, с точки зрения древнего русича, сочетания, такие, например: *пойти... за водой* или: *выйти... за околицу*. Наш предок пришел бы в ужас от сочетания вроде *поводился за...* Для него возможно только *въводился волкъ въ овце*. До сих пор старушки в деревнях говорят *пойти по воду*, потому что *пойти за водой* — это городское и совсем неправильное выражение, оно когда-то значило: 'пойти вслед за водой, вниз по течению речки'.

В конце XVII века и в продолжение XVIII века происходил важный для языка процесс: каждое слово определяло тот круг предлогов и надежей, с которыми впрямь

оно могло употребляться, с помощью которых оно могло управлять другим словом. Какому глаголу винительный, какому — творительный, какой с предлогом, а какой — нет. В письмах того времени на каждом шагу встречаются несуразности вроде следующих:

Как скоро письмо окончу, то к тебе его сообщу.

Я вами совсем не известен.

А что до меня касается...

Когда нет способа избавиться клевет...

Убегайте их, они — яд, они — желчь.

Но вместо того многие ей смеялись.

Должны трепетать моего зора. И многие другие.

В это время обычнее всего — отсутствие предлога при глаголе. В комедии «Недоросль» провинциальные герсы Фонвизина говорят именно так, по старинке.

Простакова: Я с одной тоски хлеба отстану (=стстану от хлеба).

Скотинин: Я отроду ничего не читывал, сестрица! Бог меня избавил этой скуки (=избавил от этой скуки).

У писателей XIX века еще много примеров такого странного для нас соединения слов. У Достоевского: «Наш прокурор трепетал встречи с Фетюковичем...» У Глеба Успенского: «Начальство сельское его трепетало». Всюду родительный падеж без предлога. У Достоевского: «Итак, что же тогда руководило вас в ваших чувствах ненависти?» У Лескова: «...езде бедных людей руководствую». Всюду винительный падеж без предлога, хотя по форме он и похож на родительный.

Ничего удивительного в таких сочетаниях нет. *Трепетать* и *руководить* — глаголы бесприставочные, и потому никакого предлога за ними не должно быть. А похожие по смыслу другие глаголы и до сих пор сохранили управленные винительным или родительным падежом без предлога, сравните:

трепетал от встречи и боялся встречи,

руководил вами и вел вас.

В этих парах положение изменилось только для *руководить* и *трепетать*.

Вообще всякое изменение грамматической связи слов обычно связано с каждым глаголом отдельно. Не может ни в каком языке образоваться такого положения, что одновременно рвутся все прежние связи слов, заменяются новыми или исчезают вовсе. Слишком неудобно это было бы

для говорящих, полная неразбериха и сумятица. А язык, то как раз и служит людям для того, чтобы все легко было понять — понять быстро и без особых усилий. Оформление новых грамматических связей происходит постепенно, от одной группы глаголов к другой; к одной люди привыкли — изменение начинается в следующей. Вот почему подобные преобразования всегда столь длительны. Они связаны с изменениями значения слова в тексте, в каждом конкретном тексте.

Например, разорвалась в каком-то месте связь между глаголом и предлогом — и сразу же один предлог сменился другим, уже со своим собственным, новым для этого сочетания значением. Вот как Лев Толстой списывает старого князя Болконского: «Он сделался еще более раздражителен, чем прежде, и все вспышки его беспричинного гнева большею частью обрушивались на княжне Марье». Прежде, давно, до Толстого, следовало бы сказать *обрушивались о(б) княжну Марью* — с винительным падежом и с предлогом, равным приставке. Однако изменилось значение самого глагола, оно стало более широким и даже (как в данном случае) получило переносные оттенки значения. Княжна Марья, стареющая и робкая, вовсе не утес, об который обрушивается волна отцовского гнева. Собственно, лексическое значение глагола настолько разросло, что прежние синтаксические связи с другими словами уже не устраивают ни язык, ни мастера, который тонко и творчески его чувствует: слишком уж они узки, не соответствуют новому содержанию слова. *Обрушивались на...* — разрыв прежней зависимости, раскрепощение слова: *об-* — *на...* вместо *об-* — *об...* Непривычно, образно — хорошо!

Перечитайте Толстого. Весь его язык — это чуть-чуть сдвинутые связи слов, но сдвинутые не произвольно и грубо, а так, как это допускается языком. Предлог *на* связан и с винительным, и с предложным, и потому данный сдвиг оправдан как факультативный и вполне возможный, его поймет каждый человек, знающий русский язык. Может быть, и поморщится иногда, а может быть, и восхитится, но — поймет и примет.

Так, в конкретных текстах у талантливых писателей или в речи особо одаренных людей язык проверяет свои возможности, язык «тренируется». Кое-что из опробованных новшеств входит в общий язык, большинство же — нет. Так и остается в романе или в поэме, всегда пленяя

тонкостью поэтического эксперимента. Но оценить эту тонкость, насладиться ею может только человек, сам прекрасно чувствующий свой родной язык. Кстати, и под пером писателя эти «тонкости» возникают не «вдруг», потому что талантлив. Воздушные стихи Пушкина переписывались десятки раз, его черновики исчерканы до предела. Лев Толстой на отдельных листках проверял возможности русских слов: возьмет, например, глагол *идти* и смотрит, с какими приставками, с какими предлогами, с какими именами существительными после них этот глагол в русской речи возможен, с какими оттенками, в речи какого персонажа и почему. И оказывалось, что *идти* может использоваться в тысяче сочетаний — и каждый раз со своим оттенком, со своим словесным и грамматическим ароматом. И только проделав такую изнурительную исследовательскую работу, писатель решался самую маленькую частицу этого труда использовать в своем произведении, так, что не всякий и заметит его новшество, но унесет с собою в сердце аромат необычного, красивого, талантливого.

В первой половине XIX века, уже после Пушкина, в новом русском литературном языке современные синтаксические связи — согласование и управление — в основном сложились. Осталось кое-что доделать, кое-что и до сих пор доделывается, но это уже частности, случайности, мелкие огрехи. Основное сделано. Каждое слово в сочетании, как горошина в стручке, — на своем месте. Вот самая крупная, уже созрела, а по сторонам — помельче и посочнее. И каждая сидит на стебельке, не перекатывается без толку.

И вот только когда это произошло, когда на место прежней неразберихи и путаницы пришла четкая связь либо согласования, либо управления, странными показались те слова сочетания, которые никак своей формы не меняли, но при этом постоянно относились к одному и тому же члену предложения. Наречие, например, всегда относится к сказуемому: *свеча горит — ярко...* Если в языке все подчинено закону взаимной связи, ясно, что и видимое отсутствие связи тоже является связью — но другой, необычной, «ущербной», в буквальном смысле слова бесформенной связью. И лингвисты назвали такую синтаксическую связь примыканием. Очень удачно назвали и верно.

Мы еще раз, на новых примерах, убедились в том, что

с развитием языка одновременно развивается и сама мысль, становится более емкой, вместительной, расчлененной. Синтаксическая взаимосвязь составных частей сочетания или предложения теперь, в наше время, не только и не просто отражает взаимоотношение частей и свойств окружающего нас мира. Она становится всеобщей и очень гибкой моделью, образцом умственного действия для всех, кто говорит на этом языке. Она не просто хранит сведения о прошлом в виде различных типов сочетаний, старых и новых, удачных и скромных по своим возможностям. Все примеры старых конструкций, которые мы встретили в этом рассказе, для XVI века и были ведь всего лишь остатками прежней, очень древней системы. В языке XVI века управление было уже вполне развитой, хотя и не столь богатой, как теперь, синтаксической связью. Но она постоянно, от поколения к поколению, обогащалась все новыми оттенками.

Особенно бурно новые сочетания слов возникали в XVIII веке. Самые неожиданные, самые удивительные. Похоже на то, что многовековые запреты сняли с языка, открыли плотину, и на страницы и листы ринулись из разговорной речи потоки словосочетаний.

Слова стали вступать в сочетание с сотнями, тысячами других слов, разного происхождения, разного стиля, разного значения. Например, глагол *делать*, до того устойчивый и простой, вдруг вызвал к жизни не менее трехсот сочетаний. Многих из них мы и слыхом не слыхали, жили они недолго и теперь ушли из языка: *делать суд*, *делать впечатление* — проще ведь сказать *судить* и *впечатлять*. *Делать диктант* или *делать задачи* тоже неточно, лучше сказать: *писать диктант* и *решать задачи*. На этом и сошлись, но уже в XX веке.

А вот *делать вид* или *делать замечание* — иначе и не скажешь; такие сочетания сохранились, обогатив наш язык. *Делать честь* или *делать хорошую мину при плохой игре* тоже остались, став идиомами. Так из трехсот, перебрав их одно за другим в опыте речи, язык и оставил не более двадцати сочетаний. Бурное море вошло в берега, но тем временем все возможности сочетания глагола *делать* были раз и навсегда испробованы и теперь не вернутся в отточенный наш литературный язык, чтобы еще раз п о п р о б о в а т ь.

Рассказ четырнадцатый

О ВАССАЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ ПАДЕЖЕЙ И ОБ ИХ ПАДЕНИИ

Прямо из леса огрызком карандаша брат написал маме письмо о жизни в лагере.

Если я попрошу вас определить в этом предложении падежные формы имен существительных, вы назовете именительный, родительный (два раза), дательный, винительный, творительный и предложный (два раза). Итого шесть падежных форм. С точки зрения современного русского языка именно так и есть. Однако если взглянуть на дело с точки зрения истории языка, то окажется, что в нашем предложении не шесть, а восемь падежных форм, и каждая из них употреблена по одному разу. Следовательно, расхождения между современным русским языком и языком древних славян касаются теперешних родительного и предложного падежей.

И действительно, каждый из этих падежей образовался из прежних двух. В родительном совпали родительный и отложительный, а в предложном — местный и изъяснительный.

Число падежных форм в различных языках мира не ограничивается этими восемью. Общее число падежей по разным языкам достигает тридцати (Тридцать падежей! Выучи-ка такую грамматику!), хотя и нет ни одного языка с таким количеством падежных форм. Некоторые из падежей исключают возможность других или, наоборот, требуют обязательного присутствия третьих. В финском языке 15 падежей, в венгерском 22 — значительно больше, чем

в русском, но все-таки не тридцать. Такого важного падежа, как винительный, нет в финском, но его заменяет целых три других падежа.

Да и в древнем славянском языке была еще одна форма, девятая, которую иногда называют падежной. Вы могли ее встретить, читая произведения русских классиков. Помните, как обращалась к бедняге старику золотая рыбка? «Чего тебе надобно, старче?» Не *старик*, или *старичок*, или *старина*, а именно *старче*. Рыбка была волшебная, а следовательно, очень древняя. И потому называла человека, к которому обращалась, по старинке, используя этот самый падеж — звательный.

Однако от всех остальных падежных форм звательная отличалась своими особенностями: иногда она просто совпадала по форме с именительным падежом. Сравните именительный падеж слов *село*, *день*, *мати* и звательный: *село*, *день*, *мати*. Поэтому оставим звательную форму в стороне и внимательно присмотримся к остальным восьми. Каким образом они относились друг к другу в предложении? Как изменялись в русском языке? Почему их стало меньше, чем было когда-то?

Предложение, с которого начинается этот рассказ, выражает какую-то мысль. Сама мысль вам понятна, и поэтому о содержании сообщения мы больше не будем говорить. Другими словами, мы на время забудем о конкретном (моем или вашем) брате, его маме и даже о письме, которое он пишет. Нас интересует сейчас только роль существительных в предложении.

Предложение, с которого начинается этот рассказ, выражает какую-то мысль. Сама мысль вам понятна, и поэтому о содержании сообщения мы больше не будем говорить. Другими словами, мы на время забудем о конкретном (моем или вашем) брате, его маме и даже о письме, которое он пишет. Нас интересует сейчас только роль существительных в предложении.

Без каких существительных наше предложение не стало бы предложением? Очевидно, без тех, которые непосредственно участвуют в описании действия. Все равно — обозначают ли они действующее лицо, или орудие действия, или предмет, который подвергается этому действию.

Таким образом, падежные формы *брат... огрызком*



(написал)... *маме письмо* — это центральная часть высказывания. Если мы рассмотрим любое большое число предложений, сочиненных нами или извлеченных из книг, положение не изменится. Всегда центральная часть сообщения связана с именительным и винительным, дательным и творительным падежами (кто кому что и чем делает).

Если есть необходимость уточнить сообщение или обогатить его разными дополнительными сведениями, мы пользуемся остальными падежными формами. Например, в данном случае добавляем: брат пишет *из леса*, потому что он живет в пионерском (или туристском) *лагере*, пишет он огрызком *карандаша* (а не яблока или еще чего-нибудь, что скорее найдешь в лесу) и пишет *о жизни*. Современный родительный и предложный падежи имеют в литературном языке массу различных падежных значений.

Поскольку нас интересует взаимное отношение падежных форм в древнем языке, учтем все четыре второстепенные падежные формы нашего предложения: отложительный, родительный, изъяснительный и местный падежи.

Итак, восемь падежных форм разделились на две большие группы падежей, которые мы по их важности в изложении основной мысли назвали центральными и второстепенными.

Вернемся к центральным падежам. Они в свою очередь также важны не в равной мере. Важнее всего те, которые составляют костяк предложения, выражая субъект (действующее лицо) и объект действия (предмет, на который переходит действие). В нашем предложении — *брат* и *письмо*, т. е. именительный и винительный. Если подсчитать, сколько раз употребляется тот или другой падеж в нашей речи, окажется, что эти две падежные формы — самые распространенные, особенно именительный. В повести Карамзина «Бедная Лиза» именительный и винительный вместе составляют почти 55% всех падежных форм, употребленных писателем (реже всего встречается дательный — всегда, во все периоды истории языка он самый редкий падеж). В разговорной речи персонажей этой повести употребительность именительного и винительного падежей доходит до 64%. Такое же соотношение между именительным-винительным и всеми остальными падежами сохраняется в разговорной речи до наших дней.

Ничего удивительного: предложения без именительного падежа очень редки. Ведь именительным падежом бывает

выражено подлежащее. Винительный же падеж совершенно необходим в тех случаях, когда мы не хотим ограничиться высказываниями типа *Я пришел, Он принес, Кот выпил*, а говорим: *Я пришел в дом, Он принес дрова, Кот выпил молоко*. Из подобных примеров легко уяснить разницу между именительным и винительным падежами: они противопоставлены друг другу как выражение субъекта и объекта действия.

Впрочем, это вы и так знаете. Я хотел только напомнить об этом.

А знаете ли вы, что и творительный падеж также служит для выражения действующего лица (или действующего предмета)? *Брат пишет огрызком...* — обе именные формы связаны с глаголом, передающим характер действия. Еще заметнее значение «субъекта» в творительном, обозначающем одушевленное лицо. Вспомните: *Мы с Тамарой ходим парой...* И *я*, и *Тамара* — *мы* ходим парой. *Тамара* здесь такой же субъект действия, что и *я*. То же самое и во всяком другом предложении, в котором форма творительного падежа связана с одним из главных членов предложения.

Однако имеется и отличие этого падежа от именительного: творительный передает только соучастие в действии. В нашем примере *огрызком* (карандаша) — действующий предмет, но без помощи *брата* он не способен был бы выступить в этой своей функции. Точно также *Тамара* только часть пары, одна из тех, кто скрывается за местоимением *мы*.

Как творительный может указывать на второстепенный субъект действия (т. е. равен именительному), так и дательный указывает на второстепенный объект действия (а значит, и равен винительному). В нашем предложении дательный падеж имени обозначает адресат действия — *маме*.

Сказанное можно подтвердить и обосновать многими лингвистическими фактами. Прделаем небольшой эксперимент. Вот два предложения.

1. *Собака* заметила *кошку* (именительный и винительный).

2. Быть *бычку* на веревочке (пока дательный).

Изменением глагольных форм «перевернем» высказывания таким образом, чтобы изменились падежные формы, хотя бы так (отвлечемся на время от потаенного смысла второго предложения и воспримем его буквально):

1. *Кошка* замечена *собакой* (именительный остался, а вместо винительного — творительный).

2. *Бычка* возьмут на веревочку (теперь винительный).

Общий смысл предложений, их содержание существенным образом не изменилось. В новых предложениях, как и в предыдущих, логические отношения сохранились. По-прежнему *собака* является действующим лицом, по-прежнему *бычок* является объектом какого-то неприятного действия. Смысл тот же.

Однако грамматические средства выражения этих отношений изменились, и изменились очень интересным образом.

Предложения первой группы (1) указывают на некоторое сходство в значении именительного и творительного падежей: *собака* и *собакой* в обоих случаях обозначают логический субъект, действующее лицо. Предложения второй группы (2) указывают на сходство в значении винительного и дательного: *бычку* и *бычка* в обоих случаях обозначают объект действия. Выходит, мы верно определили связь в логических значениях именительного — творительного и винительного — дательного падежей. Это грамматические вариации логических отношений, вот что это такое.

Таким образом, центральные, главные падежи четко делятся на две группы, одинаково обозначающие отношения субъекта к объекту действия.

Отложительный и местный — самые неустойчивые формы всей падежной системы. Их значение заключается в обозначении второстепенных, и притом сопутствующих, обстоятельств. Друг другу отложительный и местный противопоставлены по такому принципу. Исходная точка движения передается отложительным падежом: *из лесу* (вспомните: *Я из лесу вышел, был сильный мороз...*). Отложение от исходной точки — отложительный падеж. А состояние покоя, отсутствие движения — это местный падеж; *в лесу* (в нашем предложении — *в лагере*). Оказывается, что в центральных падежах противопоставлены значения деятеля и бездеятельности (именительный и винительный), а во второстепенных — бездействия и начала действия (местный и отложительный).

Итак, падежные формы по своей функции в предложении неравноценны. С одной стороны, зависят друг от друга, а с другой — противопоставлены друг другу. Именно в силу такой иерархической связи они и образуют строгую

систему подчинения друг другу — в зависимости от их роли в предложении: менее важное, более важное, очень важное. Совсем как в сложной системе вассальной зависимости, характерной для средневековой Европы.

Наша современная система от древней отличается только одним: у нас исчезли отложительный и местный падежи, т. е. исчезли сопутствующие значения второстепенных падежей. Они оказались самыми несущественными.

В историческом изменении победили главные формы второстепенных падежей — родительный и изъяснительный. Только изъяснительный называется теперь иначе — это наш предложный падеж. Свое название он получил (довольно поздно, фактически только в современной научной грамматике) по той причине, что во всех значениях этот падеж стал употребляться обязательно в сочетании с каким-нибудь предлогом. Старое предложение *Сидел князь Киевъ столъ* можно передать так: *Сидел князь в Киве на престоле*. Видите, даже вполне независимый старый местный падеж получил в качестве обязательного предлог — и стал предложным падежом.

Долгое время местный падеж сопротивлялся слиянию с изъяснительным. Особенно упорно сохранялись беспредложные формы со значением времени, их употребляли еще в середине XVI века, при Иване Грозном. Например: *«Зимъ поехал князь на Московъ»*.

Обе обиженные судьбой формы — отложительный и местный падежи — находили все новые и новые возможности для отличения от побеждающих их родительного и изъяснительного. В одних случаях это был предлог, который никак не желал сопрягаться с местным падежом или, наоборот, не расставался с отложительным. В других — важное значение получало ударение. Еще у поэта и переводчика середины XVIII века Тредиаковского мы можем найти разные ударения в таких, например, сочетаниях: *жилище зѣмли*, но — *ушел с землѣй*. Посмотрите на значения этих сочетаний: первое полностью соответствует старому родительному падежу, а второе — старому отложительному. И различаются они ударением, а также своим отношением к предлогу: при родительном падеже предлога нет, тогда как отложительный без предлога никак не может быть.

Странно, скажете вы: так или иначе, формой или значением, но падежи-то различаются! Следовательно, они существуют объективно, на самом деле? Нет, если вы так подумали, значит, вам неясен характер грамматического изменения. Изменяется ведь не одна форма (форма как раз чаще всего и сохраняется в языке) и не одно значение, изменяется единство, слитность грамматической формы и грамматического значения. Т. е. то нерасторжимое единство, которое и создает падежную форму.

В глубокой древности родительный — отложительный и местный — изъяснительный попарно друг от друга отличались и падежными окончаниями, и значениями. Потом произошло совпадение их окончаний и частичное совпадение их значений. Какие-то различия в значении некоторое время сохранялись, особенно в старых предложных сочетаниях. В современном русском литературном языке родительный или творительный падежи имеют по десять значений — это все варианты падежных форм. Такие значения, не имеющие своей формы, могут проявляться только в конкретном контексте и по этой причине являются фактом не морфологии, а синтаксиса. В разделе синтаксиса эти оттенки падежных значений и рассматриваются.

До сих пор мы говорили только о литературном языке. Упрощение падежной системы может идти и дальше, и в русских диалектах встречаются многие следы такого упрощения.

В некоторых диалектах совпадают формы родительного и предложного падежей единственного числа имен женского рода. В таких говорах говорят *о сестре, на земле* и вместе с тем — *у сестре, из земле*. Может быть обратное отношение: оба падежа совпадают в форме родительного падежа: *у сестры, из земли*, но вместе с тем — *о сестры, на земли*. В других случаях совпадают творительный и дательный падежи (но лишь во множественном числе): говорят *по рукам* и вместе с тем — *с рукам* (вместо *с руками*). Иногда такие формы попадают и в литературное произведение, ср. в сказке «Конек-Горбунок»: «Вдруг приходит дьявол сам с бороною и с усам».

Однако все такие совпадения падежных форм все-таки отличаются от утраты падежа. Ведь совпадения происходят не у всех существительных. Например, в одних типах склонения родительный с предложным смешиваются, а в других не смешиваются. Как говорили, так и говорят:

на столе и у стола. Даже в том же типе склонения, который в единственном числе смешивает родительный и предложный, во множественном числе эти падежные формы по-прежнему различаются: *у сестер* и *о сестрах*. Совсем разные формы, и мы их не смешиваем, и в говоре они также различаются. Нет, это не утрата падежей, это их смешение.

По письменным памятникам мы можем проследить развитие нашего языка за тысячу лет. За это время произошло множество изменений: из семи типов склонения (да еще со многими вариантами) образовалось три, вместо трех чисел (единственное, двойственное и множественное) нам известно теперь только два, совпали друг с другом или вытеснили друг друга разные падежные окончания, во множественном числе почти перестали различаться существительные мужского, среднего и женского рода... И так далее до бесконечности. Сотни и сотни замен, постановок, различных, иногда не отмеченных в памятниках изменений. В речи одного человека и в речи многих людей, случайных и намеренных, длительных и моментальных, забавных и поучительных... Это неумемное море шумит где-то за нашей спиной, оно ушло с нашими предками. Это море — их речь. В миллионах самых разных вариантов и оттенков, которые теперь не всегда восстанавливаемы. Но взамен из всего того, что отстоялось и укрепилось, мы получили новую систему языка, систему, в которой постепенно откладывалось современное нам мышление. Простой пример: в языке древнего человека три рода (мужской, средний и женский), три числа (единственное, множественное и двойственное), девять падежей, три простых времени. Современный же язык выбирает более строгое и удобное, двоичное противопоставление. И потому постепенно образуется новое противопоставление единственного числа неединственному (и двойственное устраняется), женского рода — неженскому (и существительные среднего рода постепенно уходят из речи)... Упрощается также система падежей и времен. Язык каждый раз поворачивается своими гранями таким образом, как требуется этой именно эпохе. Из бесконечной практики речи рождается обновленный язык...

Рассказ пятнадцатый

О СЛОВАХ *СЕЙ* И *ОНЫЙ* И О ТОМ, ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ *ТОТ* *БАРБОС* ОТ *ЭТОГО*

Вдумываясь в характер слов, в то, как они обозначают различные предметы и явления, можно подметить одну подробность. Оказывается, среди многих обычных слов попадаются и необычные по своей как будто бы неопределенности.

Стол — всегда стол, по одному слову *дерево* мы можем представить дерево, а услышав *мальчик*, — приблизительно описать, как этот мальчик должен и может выглядеть.

А *Вася*? Вы можете описать, как выглядит *Вася*? Если среди ваших знакомых есть и *Вася*, вы опишите его. Еще лучше, если вы сами — *Вася*, тут и напрягаться не нужно. А если я попрошу описать просто *Васю*? Сразу — любого *Васю*? Не станете ли вы описывать кота? На том основании, что почти каждый кот — *Вася*...

Эти необыкновенные слова — самые конкретные, связанные с определенной индивидуальностью (просто *Вася*, просто *Иван* или, например, просто *Барбос*) и вместе с тем это всеобщие слова (всякий *Вася*, всякий *Иван*, всякий, наконец, *Барбос*). В современном языке имеются какие-то ограничения в использовании подобных слов. *Иван* — всегда человек, взрослый мужчина. *Вася* может быть и приятелем, и мальчиком, может быть и соседским котом. *Барбос* же — определенно пес, большой и злой. Однако подобные ограничения в разные эпохи могут различаться. Было время, и не так давно, когда кошки считались дорогими и изысканными животными, их держали только го-

спода, и Васями отнюдь не называли. Было также время, когда Барбос был известен как испанский разбойник из переводного романа, усатый и свирепый, а Полкан — как получеловек-полусобака огромной силы из «Повести о Бое корольевича», любимой сказки Пушкина. Вот тогда, в то время, было бы странно считать, что *Барбос* или *Полкан* — это обязательно собака, да еще обязательно сторожевая собака. Тем не менее какие-то свойства Барбоса-разбойника привели к популярности и распространению собачьей клички. Теперь, когда мы позабыли о старом переводном романе, *Барбос* для нас всего лишь сторожевой пес, хотя и не обязательно свирепый.

Есть и еще одна группа необычных слов, которые вообще сами по себе никакого определенного значения не имеют. Вспомните сценку из сказочной истории об Алисе в стране чудес. Мышь говорит: «Итак, я продолжаю. Эдвин и Моркар, графы Мерсии и Нортумберленда, объявили себя на стороне Вильгельма, и даже Кентерберийский архиепископ Стайджент, известный патриот, нашел это благородным».

— Нашел *что*? — спросила Утка.

— Нашел *это*, — сказала Мышь раздраженным голосом. — Вы, конечно, поняли, что значит *это*?

— Я отлично понимаю, что значит *это*, когда сама что-нибудь нахожу, — заметила Утка. — Это обыкновенно лягушка или червяк...»

Действительно, оказывается, у каждого свое представление о том, что такое *это*: *это* — самое общее слово. Все на свете может быть *это*, стоит только приставить *это* к слову: *это окно* — не любое окно, а то, что ты видишь или о котором думаешь в данный момент. И ничего удивительного нет в том, что голодная утка представляет себе *это* в виде сочного червяка.

А что под подобным словом понимал темный мужик Аним из пьесы Льва Толстого «Власть тьмы»? Вот образец его речи: «Опять ты, значит, старуха, не тае, и всё ты не тае, всё, значит, не тае...» А старуха в ответ: «Вот только и речей от орла от моего — тае, тае, а что тае — сам не знаешь...» Нет, наверно, все-таки знает, да сказать не может. Или не чувствует потребности говорить более определенно. В другом случае для той же цели (говоря, ничего не сказать) могли выбрать другое местоимение: «Было тут слово *то-оно*. Починовец прибежал к нему каждый раз,



когда ему нехватало подходящего слова. *То-оно* означало что угодно, и слушатель должен был сам догадываться, о чем может идти речь. Это было нечто вроде существительного, общего и смутного, пригодного для любого понятия и точно не выражающего никакого» (В. Г. Короленко).

Это — то — оно...

Ситуации в этих отрывках описаны разные, выбор

местоимения для передачи общей растерянности и недоумения также различен, но есть между ними и нечто общее: это всегда все-таки местоимение. *Это* — самое общее слово, Всё может быть *это*.

Но не всегда само слово *это* было в русском языке. В памятниках письменности оно встречается только с XVII века. К старому местоимению *то* спереди прибавилась указательная частица *ге* (или *йе*) в разных своих видах. По говорам и до сих пор произносят не ставшее литературным *это*, а *гето*, *ето*, *это*, *энто*, *эсто* — кто во что горазд.

Разница между *это* и *то* всякому ясна: что поближе — *это*, что подальше — *то*.

В древности же соотношение указательных местоимений было иным. Для форм среднего рода (поскольку мы все время говорим пока о среднем роде) это соотношение выглядело так:

се — самый близкий предмет, по своему значению это указательное местоимение соответствует личному местоимению 1-го лица: *Се яз есмь* значит 'Это я';

то указывает на предмет второй степени дальности, связано не с говорящим лицом, а с его собеседником; по своему значению это указательное местоимение соответствует личному местоимению 2-го лица: *То ты еси* — значит 'Это ты (а не я)';

и наконец, *оно* указывает на предмет или явление третьей степени дальности, не относится ни к говорящему, ни к его собеседнику. *Оно* связано с кем-то или чем-то

третьим, что в данный момент находится далеко, недоступно ни зрению, ни осязанию. В старых текстах мы и встречаем выражения вроде *пошел на он пол моря* — ‘на ту половину (сторону) моря’, которая отсюда и не видна, но можно догадаться, что она есть. Или вот обычная запись в летописи: *в оно время* — ‘в то далекое время’, о котором сохранились только сказания, но очевидцев опять-таки нет.

Это указательное местоимение, таким образом, по своему значению соотносится с личным местоимением 3-го лица, которого... у древних славян вовсе и не было. Должно было быть, но не было:

яз — есмь — се
ты — еси — то
? — есть — оно

Вместо «?» вы можете записать любое имя существительное, но не личное местоимение — его нет.

Зато было четвертое указательное местоимение, самое короткое: *и* — для мужского рода, *е* — для среднего, *я* — для женского. Скорее, и не местоимение вовсе, а частица, которая указывала на определенность качества: прибавляется к прилагательному или местоимению — значит, обозначаемый прилагательным или местоимением признак или предмет является определенным, известным, тем самым. Нечто вроде определенного артикля в английском или немецком языках:

се и *сее*, *то* и *тое* (вспомните: *тае!*), *оно* и *оное*. Свои формы такого типа были и для мужского, и для женского рода. И у имен прилагательных то же самое:

сказано *дом бел* (а еще раньше: *домъ бѣль есть*) — значит, утверждается, что дом является белым, обозначение его белизны и есть основной смысл высказывания, ради этого сообщения и предложение составлено;

сказано *белый дом стоит* (а еще раньше: *бѣльи домъ стоить*) — значит, об уже известном своей белизной доме сообщается нечто новое. С течением времени указательная частица *и* — *я* — *е* исчезла из языка как самостоятельное слово, потому что с ее помощью и при ее непосредственном участии стали образовываться полные формы прилагательных, причастий, местоимений, числительных... Раньше были возможны только *съ*, *ся*, *се*, *бѣльъ*, *бѣла*, *бѣло*, а прибавились указательные частицы, и все стало определеннее: *сеи*, *сия*, *сие*, *белый*, *белая*, *белое*.

С появлением полных указательных местоимений краткие стали исчезать. Исчезло и местоимение *сно*. Вернее, исчезло в качестве указательного местоимения, став местоимением личным. И ничего странного в таком изменении нет: обычное для языка изменение, когда слово не исчезает, не заменяется новым, по-прежнему сохраняется. Вот только значение у него становится совсем другим.

Судите сами: пока не было различия между полными и краткими указательными местоимениями, например между *онъ* и *оный*, *то* и *тог*, *онъ*, — это указательное местоимение. Как только возникли дублетные формы *онъ* и *оний*, одинаково указывающие на третью степень дальности, более определенная из них сохранила старое значение указательности, а другая... Другая должна была исчезнуть, как излишняя, но предпочла иной выход из положения. Она заполнила пустующую клетку в системе личных местоимений, стала на место «?»:

яз — емь — се-и, ибо *се* стало наречием, а в форме мужского рода *сь* вообще исчезло;

ты — еси — то-и, ибо *то* стало союзом, а в форме мужского рода *тъ* вообще исчезло (или его стали повторять дважды *тътъ* — тогда появилось *тот*);

он — есть — оны-и, ибо *онъ* стало личным местоимением.

Хотя местоимению *онъ* удалось пристроиться к системе, ему пришлось при этом расстаться со всеми формами косвенных падежей.

Вы обращали внимание на то, что именительный падеж местоимения *он* совсем не похож на косвенные падежи: *его*, *ему* и т. п.? Как будто перед нами формы двух разных слов. И в самом деле, *его*, *ему*, *им* — это формы местоимения *и*, того самого, которое участвовало в образовании полных прилагательных и местоимений. Местоимение 3-го лица от указательного местоимения *онъ* взяло только именительный падеж. А все остальные падежные формы оказались лишними, вышли из употребления и исчезли из языка.

Не менее драматична судьба и многих других местоимений. Когда-то, например, личные местоимения имели по две формы — полную (*мене*, *тебе*) и краткую (*мя*, *тя*). Сохранились только полные, а краткие исчезли, как вооб-

ще стали исчезать краткие формы местоимений и прилагательных. Осталась только краткая форма возвратного *се бя* — она выглядела как *ся*. Осталась и стала употребляться как возвратная частица при возвратном глаголе: *собираться*, а потом окончательно потеряла самостоятельность и превратилась в часть слова: *собираться*.

Вернемся, однако, к указательным местоимениям. На место трех прежних степеней дальности пришли две: *тот* — *этот*.

Правда, в качестве архаического долго еще сохранялась и основанная на прежней системе пара *сей* — *оний*. До середины прошлого века. Вот примеры из художественного произведения и из научного трактата тех времен:

«Это внимание [дамы] возбуждено шпорами, но глаза ее встречаются с усами, и — о счастье! — оказывается, что *сии* усы и *оние* шпоры принадлежат одному лицу. Какое милое сочетание!» (Я. Б у т к о в. Петербургские вершины).

«Известные события... не позволили мне обнаружить приготовленного снимка с *оних* [листов] даже и до дня *сего*» (О. Б о д я н с к и й).

Эта пара окончательно ушла из литературного и разговорного языка, и только язык милицейского протокола нет-нет да и помянет их, когда понадобится строго и педантично разграничить свидетеля (*сей*), пострадавшего (*тот*) и преступника (*оний*). Да очень грамотные люди, знающие древний язык, из озорства могут припомнить ушедшие в вечность формы.

В одном из романов К. Федина описан такой случай: «Он сморщил нос, слегка пофыркая и прогнусавив речитативом:

— Хв-Хи! Стихи! Люблю стихи я,

Зане она — моя стихия...

...Ергакон закричал:

— Я посрамлен!.. Какой блеск рифмы, а?! и что за



элегантная вольность в обращении с грамматикой!.. Стихи, насколько понимаю, род мужеский — и вдруг они стали *оне!* а?»

Действительно, древней формой именительного падежа множественного числа для мужского рода была *они*, а для женского все-таки не *оне*, а *оны*. *Оне* появились довольно поздно, уже в русском языке, под влиянием другого местоимения, тоже женского рода — *сее*. Выходит, оба героя романа неправы, но неправы относительным образом: Ергаков вспоминает не древнерусскую, а книжную форму, выученную в гимназии (для женского рода — *онь*).

Грамматическое изменение можно сравнить с изготовлением деревянного мальчика из полена. Мастер неторопливо обрезает лишнее, на пол летит стружка, постепенно вырисовывается вид куклы: формируются щеки, открылись глаза, зашевелились губы. Но вот, когда все уже почти закончено и папа Карло, довольный, отряхивает с брюк опилки — вдруг совершенно самостоятельно и без всякой видимой причины у человечка вытягивается длинный острый нос, и он навсегда превращается в Буратино.

А разве мы, проследив изменение местоимений, в конце концов не получили такого же сюрприза?

Только-только на основе прежнего троичного противопоставления образовалась новая система указательных местоимений, вполне логичная и уж во всяком случае определенная, по крайней мере, красивая:

сей — тот — оный.

Она хороша и тем, что четко соотносится с личными местоимениями:

я — *сей*, а мы — *сии*;
ты — *тот*, а вы — *те*;
он — *оный*, а они — *оные* —

не запутасья. Всегда и в любом случае скажешь верно.

И вот тут-то вытягивается длинный нос Буратино — и тотчас все смешивается: вместе четкого троичного противопоставления теперь устанавливается столь же четкое, но совсем другое противопоставление — двоичное: *тот — этот*. Зато такое противопоставление может относиться к любой форме личного местоимения:

я — и *тот*, и *этот*; ты — и *тот*, и *этот*; он — и *тот*, и *этот*.

Ну, что же, разве такой принцип указания менее удо-

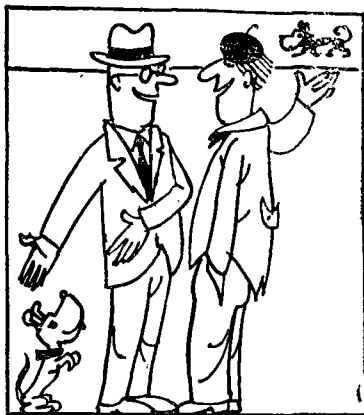
бен? Пожалуй, он еще лучше отражает сущность «указательности» указательного местоимения, потому что стал универсальным, всеобщим. Что такое *это*? Все может быть *это*. Все вокруг стало *это*.

Так получилось потому, что указательные местоимения в какой-то момент своего изменения перестали отличаться от личных местоимений и почти что с ними совпали: *он* —

и оный, они — оные... Да к тому же вместо сложной системы окончаний появились в большинстве случаев общие для всех местоимений окончания. Например, у местоимения *то* в именительном падеже множественного числа были разные формы для мужского (*тии*), женского (*тыль*) и среднего (*тая*) рода, а в качестве единственного и общего для них всех утвердилась одна-единственная, да к тому же краткая, да к тому же и не множественного числа форма *те(ть)*.

Тут бы и закончить рассказ, но внимательный читатель, вернувшись к началу его, непременно скажет: «А причем здесь *Барбос*? И что общего между *Барбосом* и *этим*?»

А ничего общего между ними и нет, как нет ничего общего между *Барбосом* и *этим Барбосом*. Чувствуете разницу: *Барбос* — *тот Барбос* — *этот Барбос*? Да-да, совершенно верно, не имеющее собственного определенного значения словечко *это* присоединяется ко всеобщему *Барбос* и позволяет из массы Барбосов выделить именно этого Барбоса, связать имя с определенным существом. *Этот* становится живой водой, которая в каждой данной, конкретной ситуации как бы оживляет слово, настолько неопределенное по значению, что его можно отнести чуть ли не к любому существу.



Рассказ шестнадцатый

ЕЩЕ О ВРЕМЕНАХ, НО СОВСЕМ ДРУГИХ

Слово *время* и теперь имеет много значений, и прежде отличалось тем же. Оно обозначало и длительность времени вообще, и определенный час, и пору — все, что связано с большей или меньшей длительностью. Даже надстрочные знаки в рукописных текстах, которые обозначали долготу гласного, звались временами. А название древнейшей русской летописи начинается так: «Се повести временных лет...», что удачно передано пушкинским

Дела давно минувших дней,
Преданья старины глубокой...

Понятно, что и те особенности глагола, которые связаны с обозначением действия во времени, тоже издавна назывались временами. Вот об этих-то временах и пойдет наша речь.

Вдумайтесь в присказку: *в некотором царстве, в некотором государстве...* Тавтология — повторение одного и того же? Что царство, что государство — все едино? Простое усиление, как принято в сказках?

Ни в коем случае! Это сказочное уточнение, вводящее нас сразу во время и в место действия: *в некотором царстве* — указывает какое-то неопределенное время, потому что когда-то, очень давно, со словом *царство* связывали не территориальное расположение какого-то государства, а время его существования. До сих пор историки говорят: *царство Сасанидов, эпоха Первого царства*. А вот в неко-

тором государстве — действительно, указывает нам место действия, такое же загадочное и столь же неопределенное. Так что никакой тавтологии первоначально здесь не было.

Нет тавтологии и в *жили-были...*

Вы уже прочли рассказ, в котором говорилось о *жили-были*. Вот какое длинное предложение! По-древнерусски я должен был передать эту свою мысль так: *Вы есте чли жили-были*. И не нужно никаких *уже*, и никаких *про-в прочли*, и никаких *о* («о жили-были»), все ясно и так. В самой конструкции фразы со сложным прошедшим временем все эти оттенки, связанные со временем действия, передаются формой глагола. Никаких лишних слов к этой форме прибавлять не нужно. Глагольных времен в древности было много, каждое со своим смыслом и для своих целей. В тех иностранных языках, которые вы изучаете в школе, можно найти некоторое сходство с древней славянской системой глагольных времен. Например, так же как в современном английском, у наших предков были основные, главные времена и относительно им подвластные, так называемые исторические времена.

В обычном повествовании употреблялись главные времена: настоящее и простое прошедшее, которое ученые обозначили термином «аорист». Как его называли в древности сами славяне, мы не знаем. Различались аорист и настоящее время окончаниями: *ходить* и *ходить* — настоящее время, *ходи* и *ходиша* — аорист того же 3-го лица в единственном и множественном числе. Вместо того чтобы сказать *они ходили*, говорили просто: *ходиша*. И без местопомещения, и вообще без подлежащего каждому было ясно, что ходило много людей, но никого из присутствующих при разговоре там не было (ходили совсем другие люди), что это их хождение не связано ни с какими другими их действиями, существует само по себе и уже завершилось. Вп-



дите, сколько подтекста в этом коротком (из одного слова!) тексте.

Форма *ходили* в то время сама по себе не употреблялась, была только кусочком другого глагольного времени, которое называлось «перфект». *Ходили суть* — так выглядело это время в форме 3-го лица множественного числа. С этой формой связано не просто сообщение о действии: *ходили* — и все тут. Нет, в таком выражении мысли скрывался и дополнительный оттенок, эта форма имела свой собственный подтекст: *ходили*, но результат этого хождения, его отдаленные последствия существуют еще и в момент речи; они представляются важными еще и тогда, когда собеседники вспоминают поход.

Почему обязательно — поход? Потому что в летописях глагол *ходити* всегда связан с военным походом на соседние земли. *Ходиша новгородци к Смоленску* — простая констатация факта: был поход.

А вот другое сообщение Новгородской летописи: *И не сведаем, откуда суть пришли*. Пришли неизвестно откуда враги, они не просто пришли: горестные последствия их прихода налицо, связаны с моментом записи.

А вот и другой рассказ — об очень отдаленных событиях, последствия которых вовсе забыты: *Пришли бо бяху в 7 лодии* — враги (когда-то очень давно) приходили на семи кораблях. Такое прошедшее время, с другим значением и с другим вспомогательным глаголом, называют (теперешние ученые!) «плюсквамперфект». А еще были глагольные времена, которые в современных исторических грамматиках называются «имперфект», «футурум экзактум» (вот как сложно и непонятно, на латинский образец!), были и другие, о которых здесь и вспоминать не будем. Все они вместе, завися друг от друга, служили важной цели — соотнести последовательность времен с реальным действием в прошлом или в будущем. Попробуем в этом клубке разобраться.

Предлагаю вам начало рассказа о том, как русский князь Ярослав Мудрый узнает о смерти отца (Владимира Красно Солнышко) и о том, что его брат одного за другим устраняет со своего пути претендентов на Киевский престол:

- (1) *Слыша Ярослав яко отец его умре,*
- (2) *а Святополк седе в Киеве, избивая братью свою,*
- (3) *уже бо бе Бориса убил и на Глеба послал есть...*

Причастия в этом тексте также играют активную роль, передавая последовательность действий в строгом соответствии с обстоятельствами дела.

В первой части одно предложение, но две мысли: отец умер — сын это узнал. Действующие лица разные, поэтому оба действия уравниваются в грамматических правах, оба переданы прошедшим временем, простым прошедшим временем, которое вы уже знаете: аористом.

Во второй части две мысли, но одно действующее лицо: Святополк сел (т. е. стал править) в Киеве и при этом убивал своих братьев. Главное действие опять-таки передается простым прошедшим временем (*седе*), второстепенное же действие происходит одновременно с главным и поэтому обозначено причастием настоящего времени (*избивая*).

В третьей части раскрываются предшествующие этому событию. Оказывается, Святополк Окаянный (именно так его стали называть в народе после злодейского убийства братьев) уже успел убить своего брата Бориса. Передается прошедшее завершённое действие, результаты которого в момент основного действия уже несущественны. Убийство совершено только-только, но для общей линии рассказа оно является уже давним, употреблена форма плюсквамперфекта, т. е. преждепрошедшего времени (*бе убил*). Давним же это событие становится потому, что одновременно с тем готовится новое преступление, убийство самого младшего из братьев, юного Глеба: *и на Глеба послал есть* (убийц). Это перфект: нужно подчеркнуть, что результаты действия еще очень важны, что еще можно остановить руку убийцы. Действие совершено, убийцы посланы, однако его конечного результата еще нет. Ясно, что здесь нужен именно перфект.

Вот сколько слов нам понадобилось, чтобы истолковать короткое древнерусское сообщение, «прочитать» грамматический подтекст этих двух десятков слов. А ведь здесь всего лишь три глагольных времени из (по крайней мере) девяти, возможных в древнерусском тексте! Легко себе представить всю сложность картины, если иметь в виду все типы времен древнерусского языка. В одних окончаниях запутаешься.

Впрочем, и по нашему тексту видна последовательность событий.

О с н о в н ы е действия героев выражены глагольными формами аориста. Аорист — важная форма в древнерус-

ском рассказе. Последовательная цепь аористов в тексте составляет основную структуру содержания, она передает неуклонное развитие действий в их реальной последовательности: *слыша, умре, седе*. Аорист — просто прошедшее время, он отмечает прошлое действие, не указывая ни его длительность, ни его отношения к другим действиям. Это максимально объективная, эпическая форма прошедшего времени, недаром ее так любили летописцы.

Д о п о л н и т е л ь н о е действие передается формой причастия, как бы дополнительным сказуемым. Это действие также связано с главными героями, оно происходило одновременно с главным (*седе... избивая*).

В т о р о с т е п е н н ы е действия связаны уже с другими действующими лицами, направлены на них и, как правило, произошли до начала основного действия. Вот тут-то и нужны перфектные времена с их оттенками значения (*бе убил, послал есть*).

Так, чтобы разобраться во всем этом сложном пересечении действий, действующих лиц, причин и следствий, последовательности времен, нам требуется знание древней системы грамматических отношений и тщательный филологический анализ текста. Без этого древний текст непонятен. Стоило только позднему переписчику заменить одну форму другой, например ставший непонятным аорист какой-нибудь формой перфекта, — и моментально изменяется смысл предложения, внутренняя зависимость действий друг от друга.

Древние русичи только таким образом и могли передать свою мысль, только так, и не иначе. Иначе их бы не поняли их современники. Дело в том, что в ту эпоху существовало несколько способов отсчета времени действия: с точки зрения момента речи, с точки зрения последовательности действий, с точки зрения длительности действия, — и каждую точку зрения нужно было учесть в передаче своего сообщения.

Примерно пять столетий, с XII по XVII век, восточные славяне упрощали систему глагольных времен.

В конце концов у форм времени осталось только одно значение: передавать отношение действия к моменту речи. Так на место сложной системы времен пришло четкое противопоставление трех времен: *делал — делаю — буду делать*.

П о с л е д о в а т е л ь н о с т ь действий пере-

дается у нас либо порядком слов, либо включением в предложение особых поясняющих слов (*уже, потом, вскоре* и т. д.).

Длительность действия мы выражаем глагольным различием по виду, совершенный вид противопоставлен несовершенному: *шел — пришел*. Противопоставление глаголов по виду — специфически славянская особенность, во многих языках мира ее нет. Но в тех языках, где глаголы не различаются по виду, сложная система времен. Вот почему англичанину трудно изучать русский язык, а русскому — английский. Надо вникнуть в систему представлений чужого языка, проникнуться его духом. Короче, проделать то же, что мы проделали с древнерусским языком. Древнерусский язык XII века — совсем не тот язык, что наш современный. Его трудно изучить, но еще труднее описать, каким образом русский язык стал таким, каков он теперь.

Значения форм времени последовательно изменялись, но сами-то формы частично сохранились, используются иногда как средство стилистического или грамматического выделения. Например, плюсквамперфект мы с вами используем, чтобы передать незавершенное в прошлом действие.

«А пришедши домой, *сел было* обедать, есть не наел, только ложкой намутил» (И. Б у н и н).

«Не того *было хотелось*, да так *сталось*» (В. Д а л ь).

И аористные формы доносят до нас дыхание прошлого. Даже в обычной речи, произнося *чу!*, мы пользуемся древней формой аориста.

Выходит, отношение людей к окружающему их миру и их понимание этого мира способны передавать не только слова, но и грамматические правила, которые являются законом для всех говорящих на данном языке.

Разумеется, сокращение количества времен отразилось и на каждом отдельном глаголе. Теперь отпадала необходимость во многих формах времени или лица. Особенно сильно изменился тот глагол, который стал связкой. Зачем ему его многочисленные формы, если он имеет единственное значение? Нужно рыться в исторических романах, чтобы выискать там какую-нибудь старую форму этого глагола.

«Да соблюдается до века Русь, ей же *благодая еси*. . . — О ком говорятся?

«Грешники есмы, доколе солнце светит!» — О ком говорится?

«Есте спасители роду своему и помним о вас днесь» — О ком говорится?

Только по форме связки и можно судить о лице — адресате высказывания. В первом случае — обращение ко 2-му лицу: 'ты творил благо'; в третьем случае то же самое, но по отношению ко многим лицам: 'вы спасители'. Во втором предложении — измененная форма 1-го лица множественного числа — 'все мы грешники'.

Теперь мы не употребим этих форм, в значении настоящего времени сохранилась лишь одна форма — форма 3-го лица единственного числа — *есть*: я — *есть*, ты — *есть*, он — *есть*, мы — *есть*... А форма 3-го лица множественного числа стала существительным *суть*: *суть дела*. И сочинители исторических романов не всегда точно передают исконные значения наших форм. Например, Алексею Чапыгину нравится форма *есте* — и он ставит ее для всех лиц и чисел:

«Кто же ты *есте*?» — а надо бы *еси*.

«Сия *есте* первая буква, именуемая — аз! Что *есте* аз?» — а надо бы — *есть*.

Ничего страшного, это ведь несерьезно, простое подражание старинной речи, аромат времени. Времени... Но с точки зрения истории языка абсолютно все равно: все время во всех случаях употреблять форму *есть* (как мы теперь) или форму *есте* (как герои у Чапыгина). Вот и получается: язык художественного произведения современный, понятный, а впечатление древности налицо.

И многие другие глаголы перестроились и подравнялись. Некоторые из них, прежде вполне самостоятельные, совпали в одном слове и теперь пугают младших школьников сложностью своего спряжения. *Бежать, хотеть* — к какому спряжению относятся теперь эти глаголы? К первому? Тогда почему возникли формы *бежит* и *хотят*? Ко второму? Но тогда откуда формы *бегут* и *хочет*?

А на самом деле были когда-то отдельные глаголы *бежати* и *бечи* и два *хотети*, и все обходилось нормально. С одной стороны, *хочу, хочешь... хотим, хочут*, а с другой — *хочу... хотишь, хотим, хотят*. Разницы в значении между ними никакой не было, да и некоторые формы совпали. Так и слились они в один ряд форм, в один глагол.

Рассказ семнадцатый

ОБ ИМЕНИ, ПРИЧАСТНОМ К ДЕЙСТВИЮ

О чем бы мы ни говорили, кроме основного действия, почти всегда нужно сказать о второстепенном, побочном, но столь же необходимом действии. Оно и передается формой, причастной к обозначению действия. Когда-то и различить-то было трудно, где основное, а где второстепенное действие: *вставъ и рече* или *вста и рекъ*. Теперь бы мы перевели так: *встав сказал* или *встал сказав*, и каждому ясно, что действие, выраженное глаголом, основное, а деепричастием — второстепенное. А в те времена, когда подобные сочетания аориста и причастия еще были в ходу, определить степень их зависимости друг от друга было бы затруднительно: соединительный союз *и*, поставленный между ними, гарантирует нам равнозначность действий, переданных личной и неличной формами глагола. Да, действительно, глагола, потому что причастие по своему происхождению и по своему образованию — глагольная форма. Оно образуется от глагольной основы и различается по временам и даже по залогам (чего личные формы глагола когда-то вовсе не могли делать!).

Но с самого начала было у причастий что-то противоречивое. Кроме глагольных качеств, у них были и именные: как имена прилагательные, они различались по родам и падежам, могли иметь полные и краткие формы, например так:

высоко синя — это краткие формы прилагательного и причастия,

высокое синеющее (небо),
 высокого синеющего (неба),
 высокие синеющие (небеса) } — это уже полные их формы.

Причастия как бы вбирали в себя грамматические характеристики и имени, и глагола. Это привело к образованию массы причастных форм. Всего их было около двухсот, целых пяти типов. В краткой форме именительного падежа единственного числа мужского рода эти типы таковы:

свдя — *ведъ* (шій) — *седомъ* — *седень* — *вель*.

Да, и *вель* тоже. В сочетании с вспомогательным глаголом *быть* это причастие образовывало формы сложных прошедших времен.

До той поры, пока причастия могли употребляться только в своих кратких формах, они сохранили все признаки глагольности. В некоторых сочетаниях они вообще были единственной формой выражения сказуемого, например в старинных оборотах с дательным падежом (оборот и назывался «дательный самостоятельный» — независимый от личной формы глагола):

Солнцу встающую мы вышли в поле — ‘Когда солнце вставало, мы вышли в поле’.

Очень энергичный и краткий оборот, недаром М. В. Ломоносов призывал сохранить его в литературном русском языке. Придаточное предложение времени здесь как бы в зачатке, оно зернышком свернулось в колоске древнего предложения... Со временем, когда многочисленные типы придаточных предложений развились достаточно широко, надобность в подобных оборотах отпала. Они, несмотря на свою краткость, чересчур многозначны, переводятся не только придаточным предложением времени, но и придаточным причины, условия, уступительным: *так как солнце встало...*, *хотя солнце встало...* Вот только в условном значении наше предложение не поддается переводу.

Зато такое значение сохранилось в тексте письма П. С. Тургенева: «В конце мая, если только буду жив и здоров, буду в Спасском, — и тогда-то, *богу изволящу*, начнется та жизнь, о которой мы так часто толковали и мечтали...» Здесь два условных оборота: совсем новое (его происхождение относится к XVII веку) придаточное предложение с союзом *если* и очень древний, сохранившийся в качестве устойчивого сочетания «дательный самостоя-

тельный». Он пришел из церковнославянского: *богу изволящу* 'если бог позволит, допустит'.

Шло время, побеждало свойственное русскому языку стремление как можно четче противопоставить имя глаголу, т. е. предмет или лицо действию. На это были направлены многие изменения русского языка, отразились они и на судьбе причастий. И вот каким образом.

Наряду с краткими возникли и полные причастия. Стоило только приставить указательное местоимение *и* в соответствующей форме, как причастие (или прилагательное) становилось местоименным, т. е. полным:

добръ + и = добрыи — прилагательное

творя + и = творяи — причастие

мога + и = могаи — причастие

быль + и = былой — тоже причастие

Местоимение при прилагательных и причастиях в русском языке сыграло ту же роль, что определенный артикль при существительных в других языках: *ein Tisch — der Tisch; a desk — the desk* ('стол' — 'этот стол'). Когда произошло слияние местоимения с причастием, каждая полная, местоименная (а теперь мы можем добавить: и определенная по своему значению) форма сохранила за собой значение имени прилагательного. Наоборот, каждая краткая, т. е. исконная по происхождению, причастная форма по-прежнему, как и в древности, вбирала в себя глагольные значения. Так произошло великое расслоение причастий на формы глагола и прилагательные (все выделенные слова по происхождению — причастия):

Он *был* — *былые* дни.

Творя это, он *был* добр — «...*творяй* великие дела» (А. Р а д и щ е в).

Разумеется, не все прямолинейно и просто было в этом расслоении. Да и длилось оно долгое время. Еще и теперь ощущается связь между глаголом и прилагательным, вот как в этом тексте:

«— Мне кажется, как будто эта каша, — говаривал обыкновенно Афанасий Иванович, — немного *пригорела*; вам этого не кажется, Пульхерия Ивановна?»

— Нет, Афанасий Иванович; вы положите побольше масла, тогда она не будет казаться *пригорелою*» (Н. Г о л ь. Старосветские помещики).

Одна и та же по происхождению форма одновременно

является и глаголом (это бывшее краткое причастие *пригорела*) и прилагательным (это бывшее полное причастие *пригорелю*). Действие, выраженное глаголом (*пригореть*) порождает качество, закрепленное в прилагательном (*пригорелая*).

Тем не менее основное направление развития определилось, и это принесло с собою массу новых изменений.

Во-первых, краткие формы причастий почти все исчезают. Они ведь стали чисто глагольными теперь, когда окончательно оторвались от своих полных форм и лишились форм склонения. Полнее всего это проявилось у причастий с суффиксом *-л-*. Теперь никто не усомнится, что *был, была, было, были* — глагольные формы прошедшего времени.

У других типов причастий дело обстоит сложнее, только в поговорках да в пословицах сохранились некоторые архаические формы причастий: «Кто кого *смога*, тот того и в рога» ('кто кого сможет, тот того и уничтожит'), «*Сеяй* слезами радостью пожнет» (эту причастную форму лучше всего передать нашим словом *сеющий*).

Но самое важное, конечно, второе следствие: полные причастия становятся прилагательными. Вас, возможно, это удивит, и вы скажете: а разве *текущий* не причастие? а *сушеный* — тоже ведь причастие? Верно, это причастия, школьная грамматика не обманывает вас. Однако сделаем одно разъяснение.

Вы ведь имеете в виду литературный русский язык, а на его формирование в свое время очень сильно повлиял церковнославянский язык. Вот и суффикс *-уц-* и суффикс *-ац-* — не русские, церковнославянские. Потому-то они и осознаются нами как искусственные. В разговорной речи мы редко их употребляем. В произведениях Пушкина, например, они чрезвычайно редки, разве что *молящий* — но к этому суффиксу и значение самого слова обязывает! А. М. Горький часто предостерегал молодых писателей от «вшей» и «щей» (т. е. причастий на *-вший* и *-ющий*): не по русски звучит. Соответствующий русский суффикс произносится как *-уч-* или *-ач-* (и во многих других случаях русскому *ч* соответствует церковнославянское *ц*; сравните: русское слово *ночь* и церковнославянское *нощь*).

А вот и суффикс *-уч-*: «Глядь, поверх *текучих* вод Лебедь белая плывет». *Текущий* — русская форма того же самого причастия *текущий*, но воспринимается она как

прилагательное и на самом деле давно стала прилагательным. Да и *текущий* нет-нет да и попадет в текст как прилагательное: *текущий ремонт, текущий момент*.

И во многих других случаях живое русское причастие уже стало прилагательным, а искусственная церковнославянская форма еще может употребляться как «второстепенное сказуемое» (в форме причастных оборотов). Сравните хотя бы такие: *дремучий лес — дремлющий лес, горячая вода — горячая нефть, висячий замок — висящий на двери*.

И страдательные причастия тоже переходят в прилагательные: *«сушеные на солнце сушеные грибы...»* (в первом случае перед нами еще причастие, а во втором — уже прилагательное).

В большинстве русских говоров этот процесс зашел настолько далеко, что причастий в них совсем нет. В таких говорах причастие обобщило значение *к а ч е с т в а* (а не действия) и стало прилагательным.

В литературном же языке краткие причастия, все более вбирая в себя значение *д е й с т в и я*, превратились в *деепричастие*, в «причастие действия». Тоже категория литературного языка, и представитель говора не всегда в ладах с нею. Вот пример.

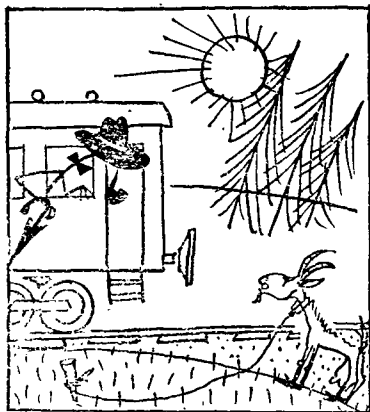
Я купила корову, будучи еще телкой — так написала малограмотная женщина, составляя жалобу в сельсовет, а журналисты поместили ее изречение в газете под рубрикой «Лучше не скажешь!» Вольно им, журналистам, смеяться. Попробовали бы сами писать официальную бумагу, писать свойственным такому документу стилем, имея самое приблизительное представление об этом стиле.

Ясно, что в момент покупки телкой была корова. Однако законы русской грамматики столь жестки и обязательны для всех (как написал — так и прочтешь!), что написанное следует понимать так: в некоторые времена сама женщина была телкой. Потому что в русском языке *деепричастие* всегда связано по смыслу с подлежащим и никогда не бывает связано с второстепенным членом предложения. В нашем случае *будучи* относится к *я*, а не к *корову*. Если написать: *Я купила корову, когда та была телкой* — мысль окажется выраженной правильно. *Я купила корову, которая тогда была телкой* — тоже правильное сочетание слов. Мысль всегда можно выразить различным образом, в зависимости от того, что именно вы желаете подчеркнуть в

своём высказывании. В первом случае важно обратить внимание на время покупки (когда та была телкой), во втором — на характеристику коровы в момент покупки: она еще и коровой-то не была!

Получается, наша корреспондентка попросту неграмотна? Не спешите с заключениями, не все так просто. И литературно образованный человек может сделать ту же самую ошибку. В записных книжках и в мемуарах особенно много примеров такого рода. Современник и друг Пушкина поэт Петр Вяземский пишет: «Вчера выехал в первый раз после падения (с лошади). Сердце как-то билось, садясь в коляску и особливо проезжая мост». Можно подумать, что одно только сердце село в коляску и только оно проезжало по мосту. Радиокomentатор Всесоюзного радио в одном репортаже с места событий произнес: «Подходя к театру, мне показалось, что народу стало больше». Может быть, редактируя сказанное на бумаге, он исправил бы это предложение по законам письменной речи, однако нам важно, каким оно родилось в минуту вдохновения. «Подходя к театру я увидел...» Да, верно, но здесь уже полная определенность, которой в момент высказывания хотелось избежать. «Когда я подходил к театру, мне показалось...» Это точнее, но очень трудно для быстрой «репортажной» речи. Сказанное комментатором на самом деле очень выразительно и кратко. Однако грамматически неправильно.

Подобные фразы неоднократно становились предметом



пародий, вот как знаменитая фраза из чеховского рассказа «Жалобная книга»: *Подъезжая к своей станции и глядя на природу в окно, у меня слетела шляпа.* Для Чехова это не просто элемент речевой характеристики персонажа, у него рождается тонкий каламбур. *Я подъезжал (на поезде) к станции, когда (или и) у меня слетела шляпа.* Подъезжал я и вместе с тем шляпа, которая была на мне. Полу-

чается же: 'я, шляпа, подъезжал к станции и с меня слетела шляпа'. Две шляпы: шляпа на шляпе, шляпа слетела со шляпы. Перед нами сознательная игра слов на фоне грамматической неразберихи.

Оказывается, таким образом, что разговорная речь частенько вступает в конфликт с законами языка, и стилистическая характеристика речи обычно связана с нарушением законов языка. Легкое смещение перспективы в руках мастера оказывается могучим средством художественности.

Что же касается правильности или неправильности предложений, приведенных выше, то объяснения следует искать в истории причастных форм. Компический эффект приведенных высказываний получается оттого, что деепричастие, которое должно соотноситься с подлежащим, вступает в связь со словом, не имеющим никакого права быть в данном тексте подлежащим. Система языка — не только отношение разных элементов друг к другу. Систему создает и соотношение элементов в тексте, правила их сочетаемости друг с другом.

Деепричастие соотносится с подлежащим, потому что по своему происхождению деепричастие — это причастие в форме именительного падежа, а все, что в предложении стоит в именительном падеже, — все это связано с подлежащим. Именительный падеж — это падеж подлежащего.

С другой стороны, деепричастие — это все-таки бывшее причастие, т. е. глагольная форма. Оно и в современном предложении подчинено основной глагольной форме, обозначая второстепенное действие.

Вот такая жесткая связь с двух сторон: соотносится с подлежащим и подчиняется сказуемому. Всякие связи со второстепенными членами предложения запрещены. Запрещены, потому что с нарушением грамматической связи происходит нарушение логической связи событий и действующих лиц, все смещается и переворачивается, получается абсурд.

Сама же жесткая зависимость деепричастия от главных членов предложения объясняется исторически, именно тем, что мы уже знаем: деепричастие — это причастие краткой формы в именительном падеже. Каждая новая система строится на развалинах старой и всегда ограничена возможностями старой системы.

Рассказ восемнадцатый

О ЧИСЛЕ И ЧИСЛАХ, А ТАКЖЕ О ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ

Для древнего человека число реально. Одно дерево, два дерева — много деревьев; то же самое, что *это* дерево, *то* дерево — и *все* остальные или вообще все деревья. То же троичное противопоставление, что и у указательных местоимений: *сей, тот* и — *оные*. Ближайший контакт между говорящими ограничивает выбор числа. Если я один — *один*, если с кем-нибудь разговариваю — *нас двое*. Больше двух — это уже очень *много*. Третий, четвертый, и так далее — все они растворяются во множественном.

Представление нашего далекого предка о количестве надолго закрепилось в грамматической системе. Мы уже говорили о том, что у древнерусских имен существительных и прилагательных различались единственное, двойственное и множественное число. При этом множественное число пришло довольно поздно; сначала нужно было осознать значение множественности, и только потом это важное открытие закрепилось в общем достоянии народа — в языке.

Каждое число сначала мыслилось как определенное количество каких-нибудь предметов: *два дома, семь быков*. И только постепенно стало осознаваться число само по себе, независимо от предметов и лиц, которые могли числиться: просто число «два» или число «семь».

Конкретность древнего числа можно увидеть хотя бы в том разговорном выражении, которое часто слышишь от

школьничка: *Дай пять!* Это не что иное, как вольный перевод древнего сочетания *подай пясть*, т. е. подай руку (а на руке-то пять пальцев). Слово *пясть* и связано со словом *пясть*, и когда-то имело конкретное значение 'пять пальцев пясти'. Еще и в наше время кое-кто «считает по пальцам», а в древности только такой счет и был возможен. Древние славяне считали пятками. Сколько дали за златогривых коней Иванушки дурачка?



Семь пять шапок серебра... Семь раз по пять. А вот в одной грамоте 1130 года похожий счет: *полтретья десятя* — рублей. Половина до третьей десятки, т. е. 25. Здесь уже отражается смешение с десятиричным счетом, заимствованным славянами у греков и римлян. Однако сама модель счета остается прежней, славянской: речь идет о том, что до 30 не хватает одного пятка.

Слова, обозначающие числа, собирались постепенно и из разных частей речи. *Один, два, три, четыре* — прилагательные. Как и все прилагательные, они различались родом, числом и падежом в зависимости от имени, с которым вступали в согласование: *один дом, одно дерево, одна корова; два дома, два дерева, две коровы; три коня, три коровы; четыре коня, четыре коровы.*

До сих пор мы говорим *два человека, три человека, четыре человека*, но *пять человек, шесть человек* и т. д. *Пять, шесть, семь, восемь (осмь), девять* — существительные, которые склонялись подобно именам типа *кость*, ср. *пяти, пятью, о пяти*. Поскольку это существительные, то за ними следовали имена в родительном падеже. Если в сочетании *два человека* перед нами следы согласования, то в сочетании *пять человек* — управление. *Десять* — тоже существительное, но склонялось оно иначе, как существительное *время*, и всегда с древними окончаниями: *десять, десятя, десяти* и т. д.

Более сложные счетные слова образовывались описательно. Вот так, например:

• « — Рано ему в стрельцы...

— Рано, конешно... *шесть на́ десять*» (А. Чапыгин и в. «Гулящие люди»).

Шесть на десять — не 60, а 16: «Шесть за десятью». Мальчику всего шестнадцать лет. Число 60 обозначалось иначе, *шесть десятъ*, т. е. 'шесть десятков'. Очень похоже на современные обозначения, разница только та, что с течением времени устранились некоторые слоги, а все сочетание в целом стало восприниматься как одно слово, *шестна́дцать* и *шестьдесят*.

Впрочем, некоторые счетные имена как бы нарушали общую логическую цепь исчисления. *Два десятя, трие десятя, четырее десятя, пятьдесятъ...* И вдруг врывается *сорокъ*, заменяя собою прежние *четыре десятя*. По какой причине — неведомо. Почему вдруг слово, обозначающее мешок (ср. нашу *сорочку*), стало числительным, никто не знает. Предположений, правда, много; вот одно из них. Связка беличьих шкурок числом *четыре десятя* была когда-то «ходячей монетой». Ее всегда держали в особом мешке — *сороке*. Постепенно это слово и стало осознаваться как эквивалент числу 40, а впоследствии и вовсе заменило собою старое *четыре десятя*. Как бы то ни было и какого бы происхождения числовые имена ни были, но со временем они все больше и больше становились похожими друг на друга и все вместе — все более абстрактными, не связанными с представлениями о конкретных предметах.

Их отстраненность от всех прочих слов особенно усилилась после того, как на письме появилось цифровое обозначение чисел. Цифра — самое условное и потому максимально абстрактное обозначение числа: 1, 2, 3... Однако произошло это довольно поздно. Долгое время на письме славяне передавали число не цифрой, а буквой: *А* — один (*Б* ничего не значит), *В* — два, *Г* — три, *Д* — четыре, *Е* — пять...

Вернемся, однако, в древнюю, дописьменную эпоху. Еще нет имени числительного как самостоятельной части речи. Есть счетные имена: *один, два, три... сто*. Это очень много — *сто*. Больше всех жителей деревни, больше, чем воинов в княжеской дружине... Очень большое число!

А если нужно было обозначить еще большее количество? Тогда прибегали к описательным словам, а то и к ме-

тафорам. *Тысяча*, естественно, появилось раньше всех прочих слов для обозначения больших чисел. Ученые связывают это слово с различными древними корнями, оно могло обозначать либо 'большая сотня', либо 'сильная сотня'. Словом, предел возможного.

Когда потребовалось обозначить число 10 000, использовали слово *тыся*. В самом слове чувствуется значение бесконечности. Дальнейшее увеличение числового ряда поставило славян в тупик, и, когда это потребовалось, они заимствовали у греков слова *легион* (сто тысяч) и *леор* (миллион). Заимствовали только слово, а не его значение. На самом деле *легион* — латинское слово, и обозначало оно воинское подразделение, численно равное примерно современной пехотной дивизии (не более 6 000 человек). Со временем понадобились слова для обозначения десяти, ста миллионов, миллиарда и т. д. И для них подыскивали эквиваленты с соответствующим случаем значением бесконечности. Десять миллионов — *ворон* (вечная птица), сто миллионов — *колода* (гроб). Что может быть больше колоды? Бесконечная вечность. Обратите внимание: каждый раз, когда требовалось новое увеличение осознаваемого числа, древний наш предок надеялся, что уж теперь-то это действительно конечное число, за ним ничего больше нет и не будет. Мир чисел он видел столь же замкнутым и конечным, как и все вокруг. И каждый раз его абстрактную сущность представлял, оживлял в чем-то определенном и реальном. Для него всякое, даже бесконечно большое, число все еще конкретно. Число-то есть, но вот числительного еще нет. Нет еще той ступени абстрагирования от реального мира, которая дает право создать самостоятельную грамматическую категорию.

Зато, как бы возмещая недостаток больших чисел, ненужных в быту, наши предки тщательно следили за точностью исчисления в низких пределах. Они добивались этого даже грамматическим способом, почти не прибегая к числовым именам. Владимир Мономах в 1101 году описывает охоты, в которых он участвовал:

Ималъ есмь своима рукама тѣ же кони дикѣи. Тура мя два метала на розѣхъ и съ конемь. Олень мя одинъ боль, а двѣ

Хватал я своимп руками (2) тех диких коней (много). Тура (2) меня два метала на рогах (многих) вместе с конем. Олень (1)

лоси — одинъ ногами топ-
таль, а другой рогами боль.

меня один бодал, и два
лося (2) — один ногами
(многими) топтал, а другой
рогами (2) бодал.

С какой скрупулезностью киевский князь произвел подсчет рогов и копыт, когда-то касавшихся его тела! И при этом он вовсе не любовался своими страданиями, он просто не мог иначе. Он обязательно должен был указать, что у двух туров четыре рога, т. е. много, а у лося два рога, но четыре ноги, а это значит — в одном случае двойственное, в другом — множественное число имени. Он не мог бы сказать: *ималъ есмь своими руками* — его высмеют! Даже у князя всего две руки, а не много рук, и множественное число вместо двойственного недопустимо.

Грамматика, раз обобщив какое-то реальное явление окружающего мира, сделав эту абстракцию общим достоянием, продолжает держаться за свою модель даже тогда, когда развитие человеческого мышления пойдет намного дальше. И вот тогда-то модель становится штампом. В XI—XII веках у восточных славян представление о числе переросло границы старой грамматики. Славяне уже осознают меру и число в их абстрактном, отвлеченном от предмета смысле. Единичность они противопоставляют множественности, и тогда двойственное число становится лишним.

Постепенно, с XII века, двойственное число все реже передается в текстах. Сначала местоимения, затем глаголы, наконец, и имена лишаются некоторых форм, служивших для передачи двойственного числа. Писцы и авторы начинают смешивать формы двойственного и множественного числа, в недоумении взирая на незнакомые им или полузабытые окончания двойственного числа: *двъ лоси, рогама, рукама*.

Не все подобные формы исчезли бесследно. Некоторые из них сохранились, но стали употребляться со значением множественного числа или вообще изменили свое значение. Мы уже встретились с одним из таких сочетаний: *два тура* когда-то передавало значение двойственного числа, теперь же, по-прежнему живая, эта форма имеет другое значение. Прежнее согласование *два тура* (именительный падеж двойственного числа) сменилось управлением

два тура (имя существительное стоит в родительном падеже единственного числа).

Совсем иначе в таком отрывке из романа Ф. М. Достоевского:

[Лиза] — Но зачем вы становитесь на колени?

[Степан Трофимович] — ...становлюсь на колена пред всем, что было прекрасно в моей жизни, лобызая и благодарю!..

Каким бы странным и торжественным ни казалось нам сочетание *на колена*, оно является исконной формой множественного числа (и другие имена среднего рода сохранили то же окончание: *села, седла*). Напротив, *колени* — фонетически изменившаяся форма двойственного числа *колень*. Именно она и используется теперь в значении множественного числа. Колен у человека два, поэтому множественность в данном случае ограничивалась двоичностью. Основание, вполне достаточное для выбора формы *колень* (а не *колена*) в тот момент, когда исчезало противопоставление между двойственным и множественным. И это — не исключительный случай. Все названия парных предметов, как правило, сохранили форму двойственного, а не множественного числа. М. В. Ломоносов отмечал, что в его время окончанием множественного числа выступает *-а* у существительных *берега, рога, глаза*, а ведь это окончание двойственного числа, которое только с XIX века стало распространяться и на многие существительные со значением множественности, такие, как *города, учителя*...

При рассмотрении всех подобных примеров мы опять-таки сталкиваемся с обычным для истории языка явлением: в качестве устаревшего воспринимается тот вариант, который не соответствует новой языковой норме. *Колена* — правильная форма множественного числа, но тем не менее для литературного языка она не является верной, нормой стала прежняя форма двойственного числа. Устаревший вариант со временем вообще может исчезнуть из языка. Собственно, из языка он уже исчез, но еще используется в речи (например, в литературном произведении) для каких-то особых целей.

Трудно себе представить все значение утраты двойственного числа. Все грамматические типы слов получили четкое противопоставление форм единственного числа множественному. Исчезло множество лишних окончаний,

грамматические различия пришли в соответствие с различиями в реальном мире. Более частные противопоставления, например одного двум или одного трем, можно передать сочетанием с числительным, и тогда понятие *много коров* может уточняться: *две коровы, три коровы, четыре коровы...*

И это изменение незамедлительно сказалось на истории самих счетных имен. Прежде всего, они слой за слоем, постепенно сбрасывали с себя то, что привязывало их ко всем остальным именам, что делало их счетными именами.

Они перестали различаться по роду — в тех, конечно, случаях, в которых прежде различались. *Пять* — не женского рода, *десять* — не среднего рода, как когда-то было. *Три* и *четыре* вообще имели окончания разных грамматических родов: *трие, четыре* (муж. р.) и *три, четыре* (ж. и ср. р.). *Один* и *два* сохранили подобное различие по роду (*один — одна — одно; два — две*); языку это требовалось для каких-то целей, хотя теперь мы все чаще, а в разговорной речи, как правило, употребляем слово *раз* вместо *один*. Мы и счет начинаем так: *раз, два, три...* *Раз* же, как и все прочие счетные имена, не изменяется по родам. Очень удобное для числительных слово, которое постепенно оттесняет *один* на задний план. Категория рода исчезает у счетных имен потому, что эти имена становясь все более абстрактными, не имеют значения предметности — самого главного для существительных значения.

Вместе с тем они перестают различаться и по числу. В известном смысле так было и прежде: *два* употреблялось только в двойственном, *три* и *четыре* — только во множественном числе. Числительное утрачивает категорию числа, потому что само по себе основным своим значением оно и является самым общим обозначением числа. Числа вообще.

Вспомним, что самыми важными признаками имени являются как раз противопоставления по роду и по числу. На путях истории счетные имена растеряли эти признаки и тем самым окончательно обособились от всех остальных имен. Они образовали самостоятельную часть речи — имя числительное. Постепенно, не без издержек и потерь, но образовали. Впервые М. В. Ломоносов уже в середине XVIII века в своей грамматике решил назвать числительные особой частью речи. Так числительное стало числительным.

Рассказ девятнадцатый

О ЗВУКАХ, КОТОРЫЕ РАЗЛИЧАЮТ СЛОВА

В фантастической повести братьев Стругацких «Обитаемый остров» есть такой эпизод. Молодой космонавт-попадает на неведомую планету и в драматической ситуации знакомится с двумя ее обитателями. Под дулом пистолета он пытается объяснить свое появление.

«— Максим! — продолжал Максим, тыча себя в грудь, — Максим! меня зовут Максим! — для большей убедительности он ударил себя в грудь, как разъяренная горилла. — Максим!

— Махх-ссим! — рявкнул рыжебородый со странным акцентом.

Не спуская глаз с Максима, он выпустил через плечо серию громыхающих и лязгающих звуков, в которых несколько раз повторилось слово Махсим, в ответ на что невидимая унылая личность принялась издавать жуткие тоскливые фонемы. Голубые глаза рыжебородого выкатились, раскрылась желтозубая пасть, и он загоготал...

Договоримся, что в этом картинном описании внеземной встречи нас интересует только одно. Нас интересует, какими выражениями описана здесь речь сознательных существ:

. . . рявкнул ... со странным *акцентом*...

. . . выпустил... серию... *звуков*...

. . . издавать жуткие тоскливые *фонемы*...

Обычное, распространенное значение первого выделенного слова вам знакомо. Если плохо знаешь чужой

язык, иностранные слова поневоле произносишь на образец знакомых слов родного языка. Вот, например, как конечный согласный в немецких словах *durch* или *ich* — это ведь не просто русский звук *х*, как вы иногда произносите, изучая немецкий язык. Или первый согласный в английских словах *that* или *the* — это ведь не *ze* и не *be*, как вы иногда произносите на русский образец, изучая английский язык. Вам трудно произнести эти незнакомые звуки, и вы каждый раз подбираете удобную для вас замену, т. е. иностранные (немецкие и английские) слова произносите с русским акцентом.

Выходит, что слово *акцент* в цитированной повести употреблено верно. Рыжебородый не знал русского языка и потому имя космонавта переделал на свой лад, произнес его с акцентом: *Махх-ссим*. Очевидно, все щелевые согласные в этом языке были долгими или их не было вовсе. Очень странный язык, но — допустим. Чего только не встретишь в межпланетном путешествии!

Дальше. «Выпустил... серию... *звукос*». Вполне понятно и вполне справедливо. Когда слушаешь речь на незнакомом языке, впечатление именно таково: как будто выбрасывают на тебя серии звуков, разделенные паузами, а ты стоишь и только головой крутишь — ничего не понять.

Пожалуй, это слово нам и понадобится: ничего *не* *п* *о* *н* *я* *т* *ь*.

Для чуткого человека мир состоит из красок, запахов и звуков. Журчит ручей, распевают птицы, фыркнула машина, замычал на лугу бычок... Все это — звуки. И крик петуха, и ваш ответ на уроке. Хотя звуки эти — разные.

На уроке вы не хлопаете крыльями и не закатываете при этом глаза к потолку. Вы говорите. Издаваемые вами звуки — это звуки речи. И от петушиного крика они отличаются тем, что их понимают. Такие звуки не просто звучат и слышатся, с ними связано какое-то значение. Мы и куриному кудахтанью подчас приписываем какое-то значение, очеловечиваем «курный язык». Например, говорим, поддразнивая курицу: «Куд-куд-да?» А ведь это весьма вольное толкование криков испуганной несушки. Замечательный наблюдатель звуков, запахов и красок писатель Михаил Пришвин не случайно обронил: «Сотни разнообразных фраз войдут в известную фразу петушиного крика». Все дело в том, что этот крик мы не понимаем.

Значит, для человеческой речи важны не просто звуки, а только те звуки, которые служат для различения слов. Звуки со смыслом. Такие звуки лингвисты называют специальным термином «фонема». В переводе с греческого он и значит 'звук', но звук особый, звук, который служит для различения слов.

Вы можете ошибиться в произнесении звука, например: *о* произнести в нос или складывая губы фантиком; но как

только вы сильно вытянете губы вперед, получится уже не *о*, а *у*, и вместо слова *дом* вы произнесете слово *дум*. Изменится значение слова. А этого никак нельзя допускать, потому что вас могут понять неправильно. Всегда можно обнаружить грань между просто звуком и звуком-слоразличителем, т. е. фонемой.

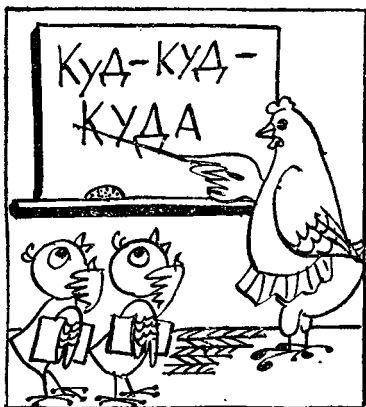
Так мог ли Максим сказать, что инопланетный незнакомец стал «издавать жуткие тоскливые фонемы»? Жуткие и тоскливые — может быть, но не фонемы, а звуки. Пока Максим не понимает, о чем идет речь, пока он не знает чужого языка, он воспринимает только «серии звуков». Его мозг не перерабатывает эти звуки в какой-то текст, имеющий смысл... Это звуки, которые еще не служат для различения слов. Поэтому Максим не имел права назвать их фонемами. И только для самих туземцев эти жуткие звуки были фонемами, точнее, выступали в роли фонем.

И впредь мы с вами будем различать звуки и фонемы. Они тесно связаны друг с другом. Они попросту не могут друг без друга. Хотя бы потому, что фонема всегда воплощается в звуке.

И только в звуке?

Оказывается, нет. Это лишь в устной речи. На письме фонема обозначается буквой.

Какими гласными звуками различаются слова *сом* и *сам*? Гласными [о] и [а]. Значит, это не просто звуки, они различают значения слов; лингвисты говорят: звуки [а]



и [о] находятся в ранге фонем. На письме же эти звуки передаются буквами *а* и *о*. Но не всегда буквы последовательно соотносятся со звучанием.

Сравним написание и произношение корневых гласных под ударением и без ударения в словах *сам* — *сама*, *сом* — *сома*:

<i>сам</i>	[сам]	— пишется <i>а</i>	— произносится [а]
<i>сама</i>	[самá]	— пишется <i>а</i>	— произносится [а]
<i>сом</i>	[сом]	— пишется <i>о</i>	— произносится [о]
<i>сома</i>	[самá]	— пишется <i>о</i>	— произносится [а]

Сложность возникает в последнем случае; произношение [самá] одинаково передает и *сома*, и *сама*, [а] здесь «общий звук» и для фонемы *о*, и для фонемы *а*, потому что [о] без ударения в русском языке не произносится.

Положение гласного в зависимости от ударения, или от места в слове, или от окружающих гласных и согласных звуков называется *п о з и ц и е й*.

Если мы еще раз изменим позицию наших корневых гласных, их звучание снова изменится. Например, во втором от ударного слоге на месте *а* произносится краткий звук, средний между [ы] и [а], который обозначают знаком [ъ], ср. [съмавѣ] (*самогѣ*).

Одна и та же фонема *а* воплощается в разных звуках: то в ударном [а], то в безударном [а], то в [ъ].

Чтобы правильно написать слово *самогѣ*, вы изменяете его так, чтобы корневой гласный оказался под ударением: [сам] — и тогда смело пишете в корне букву *а*.

Мы не случайно проверяем написание гласных их положением под ударением — в этой позиции различается самое большое количество русских гласных. Сравните:

та́ — *то́* — *ту́* — *те́* — *ты́*
а́м — *о́м* — *у́м* — *э́м* — *и́м*

В каждом ряду слова (или их формы) различаются только одним гласным. Здесь пять гласных фонем. Это *с и л ь н а я п о з и ц и я* для русских гласных.

В безударных положениях различается меньше гласных. Например, как мы только что убедились, *а* и *о* не различаются. Это *с л а б ы е п о з и ц и и*.

Есть сильные и слабые позиции и для согласных.

Например, перед гласными различаются глухие и звонкие. Слова *коза* и *коса* различаются одним звуком: в пер-

вом слове — фонема *з*, во втором — *с*. Это сильная позиция.

А на конце слова возможны только глухие. Те же слова в родительном падеже множественного числа звучат одинаково: [кос] — *коз* и *кос*. Это слабая позиция.

Основной закон нашего правописания состоит в том, что звуки слабых позиций обозначаются теми же буквами, что и звуки сильных позиций.

А благодаря этому значимые части слов (корни, приставки, суффиксы, окончания) пишутся всегда одинаково, независимо от произношения. Например, корень *вод-* всегда пишется *вод*, хотя произносим мы его по-разному: в слове *вóды* — [вод], в слове *водичка* — [вад'], *водовоз* — [в'эд], *вод* — [вот].

А пужно ли такое единообразие? Конечно, да! Оно позволяет нам писать так, чтобы лучше и быстрее понимать написанный текст. Не читать, а понимать. Нужно сразу ухватить смысл написанного или напечатанного. Произносить же «про себя» читаемый текст вовсе не обязательно. Хорошо тренированный человек пробегает глазами до тысячи слов в минуту и прекрасно понимает прочитанное.

Попробуйте с подобной скоростью прочесть хотя бы такую вывеску над парикмахерской: «сдесь п'явки! стригут ибреют! идамские головы убирают! и рашки!» (Я. Б у т к о в. «Темный человек»). Очень сложное занятие, не правда ли?

Язык изменился, а письмо осталось прежним, оно всегда немного опаздывает в своих изменениях. Слово *рожкíй* когда-то так и произносили: [рожк'íй]. Произносим уже [рашк'íй], а пишем все еще *рожки*, говорим [з'д'ес'], а в прочитанном объявлении находим древнюю форму *сдесь*.

Произносить отдельные слова мы можем по-разному: кто шепелявит, кто картавит, у кого еще какой-нибудь дефект найдется. Неужели все это на письме передавать? Хорошо бы мы друг друга понимали, передавая на письме звуковой состав каждого слова в индивидуальном варианте, да еще со всеми результатами происшедших на протяжении веков изменений!

Вот как сложно связаны друг с другом буква и звук. Каково же соотношение трех единиц: звука, буквы и фонемы?

Грамотному человеку легче всего представить себе, конечно, букву. Это нечто определенное, ясное, одна буква

четко отличается от другой, их не спутаешь. В нашем сознании — это яркое и четкое, скажем, А.

На втором плане стоит звук: это более расплывчатое, нечеткое, чуть-чуть возникающее из тумана воображения звучание [а]. Мы, конечно же, знаем, что буква и звук связаны друг с другом, однако зрительные впечатления все-таки сильнее слуховых, да и сами звуки каждый человек произносит на свой лад, не совсем так, как другие. Нет, буква как-то определеннее. И в быту чаще говорят именно о ней, об этой все разъясняющей букве. Некий персонаж «говорил по-русски, старательно выговаривая каждую букву». Вот видите, как будто читал написанный текст, а не выражал собственные мысли. Буква для романиста — это записанный звук и то же самое, что звук.

А вот что касается фонемы, тут дело еще сложнее. Фонема находится как бы на третьем плане. Это даже не пунктир в тумане, это просто сам туман, белое пятно, которое не каждый и различит. Букву можно увидеть. Звук хотя и не совсем точно, да услышишь. А фонему? Фонему нельзя увидеть, да и услышать трудно: она воплощается то в одном звуке, то в другом, то в третьем, не очень-то похожем на первые два. Важность буквы, звука и фонемы прямо противоположна нашему восприятию этих единиц в речи. Важнее всего фонема: она помогает различать разные слова и части слов. Но сама по себе она не «существует», она всегда воплощается в звуках, которые в свою очередь на письме могут передаваться определенными буквами.

Значение единицы обратно пропорционально ее очевидности: чем важнее, тем незаметнее.

Если оглянуться назад, в глубь столетий, и проследить, как постепенно люди осознавали сложное переплетение фонемы, звука и буквы, обнаружится следующее. Оказывается, и ученые раньше всего поняли назначение буквы, потом стали различать букву и звук (и этот этап развития науки отражен в вашем школьном учебнике), наконец, выделили звук, способный различать слова, т. е. фонему. А в наши дни говорят еще и об элементарных признаках, которые, собственно, и дают возможность отличать одну фонему от другой. Таким же путем шли физики: сначала вещество разделили на молекулы, потом открыли атомы, а теперь изучают элементарные частицы, из которых образуются атомы.

Рассказ двадцатый

О ТОМ, КАК И ЗАЧЕМ ИЗМЕНЯЮТСЯ ЗВУКИ

А они и не изменяются вовсе. Как произносилось восемьсот лет назад слово *дети* с узким и чуть-чуть напряженным [e], так и теперь произносится в окружении двух мягких согласных: [д'э́т'и]. Как будто немножко на [и] похоже — [д'ʰэ́т'и].

А может быть, все-таки изменяются? Вот ведь в слове *детки* раньше произносился тот же гласный, что и в слове *дети* (корень-то один и тот же), а теперь в этом слове мы произносим низкое и совсем не напряженное [э], которое часто встречается перед твердым согласным, [д'э́тк'и]. А если петь, то услышишь даже [д'ʰэ́тк'и] — с постепенно переходящим от [и] к [э] гласным. Трудно сразу же после мягкого согласного [д'] произнести [э] — обязательно появится добавочный звук [и] или [e], который смягчит переход, сделает его незаметным.

Минуточку! Вот мы и нашли это слово: *незаметным*. Положа руку на сердце, можете ли вы сказать, что с л ы ш и т е все подобные переходы одного звука в другой? [ʰeʰ] или [ʰeэ]? Разве что уж вслушаться в свое собственное, очень медленное произношение и при этом обязательно следить, как постепенно перемещается во рту язык. Вот в слове *детки* он как будто плавно понижается, но не до самого конца, потому что наступает время произнести [т], и приходится резко как бы отрубить дальнейшее произношение гласного [э].

В этом-то все дело: Если произносить и одновременно слушать, вы сможете при достаточной тренировке осознать различие между нашими звуками в приведенных словах. А если только слушать, скажем, чужую речь, вы не сможете это различие между звуками осознать.

Следовательно, для вас никакого различия между нашими звуками и нет.

Вот мы и употребили еще одно важное для наших рассуждений слово: *различие*.

Только если мы осознаем различие между двумя звуками, можно предположить, что перед нами две фонемы. Если же не осознаем, значит, перед нами просто два звучания одной и той же фонемы.

И уж если мы не слышим разницы между двумя разными [e] в словах *дети* и *детки*, значит, эти [e] — различные звучания одной фонемы. В отличие, например, от [y] в слове [д'утк'и] (пишется *дудки*): [д'этк'и] — [д'утк'и]. Никто не спутает эти два слова, потому что их различают знаки — фонемы *e* и *y*.

И с развитием языка изменяется вовсе не звук, а фонема. Ведь не звук, а фонема является единицей языка.

Попробуем пояснить это на примере из какого-нибудь современного русского говора. Говор, как и наш литературный язык, — живая разновидность русского языка, он «звучит». И вместе с тем он представляет более древнюю стадию русского языка, звучит так, как звучали русские говоры много лет назад.

Вот в нашем говоре вместо [a] после мягких согласных слышится звук, похожий на литературное [e]. Диалектолог, который записывает диалектную речь для своих научных надобностей, приходит в недоумение: почему *петь* *пальцев*, а не *пять пальцев*? Почему *e*, а не *a*? Он спрашивает у старика, который только что произнес *петь* *пальцев*: «Как правильно сказать: *пять пальцев* или *петь* *пальцев*?» И получает ответ: «Поют только в церкви, а *пальцев*... (и вот тут я должен записать в транскрипции, условным фонетическим письмом, иначе неясной останется суть ответа) — «...а *пальцев* [п'е^ат']». Что это значит?

Это значит, что и старик, говорящий на русском диалекте, и ученый, владеющий литературной формой русского языка, различают оба слова — *пять* и *петь*. Потому-то они и понимают друг друга, что для каждого из них

это разные слова. Потому-то и язык, на котором они говорят, — один и тот же язык.

Что же мешает им понимать друг друга?

Пустяк, мелочь. Знаки различения этих слов у старика и диалектолога разные, т. е. одни и те же слова различаются у них разным способом, разными фонемами.

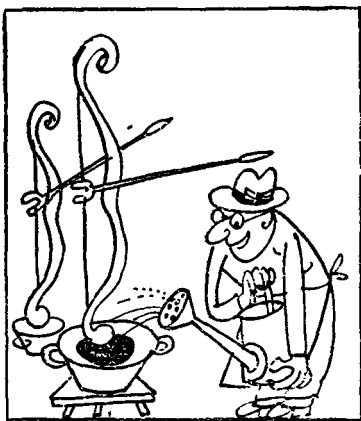
Ученый, как и мы с вами, различает здесь два разных гласных [e] и [a]. Старик различает наши слова тоже гласными, но другими: в слове *петь* — [e], а в слове *пять* — [e⁹]. Это не [a], как в литературной речи, а [e], очень похоже на [a]. Этот звук обозначается в транскрипции слиянием двух букв: а+е=æ.

Было время, все русские говоры походили на тот, которым пользуется теперь наш старик. Это архаический, сохранивший многие старые особенности русского языка говор.

Таким образом, две возможности различения слов — старая и новая — могут сосуществовать в языке. Старики будут понимать молодых, а молодые — стариков. Но уже дети молодых воспримут понимание языковых различий, свойственное родителям, а не дедам. Так и происходит изменение. Скачком — и вместе с тем постепенно.

Может случиться так, что в результате звуковых изменений два слова совпадут, станут омонимами. Звучат одинаково, а обозначают разное, вот как *лук* и *лук*. В древности эти слова и звучали неодинаково. Один *лук* произносился когда-то «в нос» ([лу^нк] ‘оружие’), а другой нормально, чисто ([лук] ‘овощ’). А потом утратилось различие между двумя разными *у*, и мы получили омонимы.

Так происходит изменение фонем. Но почему оно происходит и зачем? Не проще ли было бы для всех поколений, говорящих на этом языке, каждый раз оставлять все по-старому? Проще, верно — но и неизмеримо труднее. И труднее больше, чем проще.



Мы сами убедились, как возрастает со временем количество новых слов, их длина, связанная с разными грамматическими приметами слова в предложении, усложняется состав слов — постоянно увеличивается число морфем в нем и их вариантов (в зависимости от части речи или от стиля), изменяется темп речи и мелодика, изменяется язык. И чтобы обслужить это море важных для языка единиц, все время приходится довольствоваться очень ограниченным числом фонем, не более сорока. Чем больше фонем, тем затруднительнее понимание — оперативная память человека ограничена. Вот и приходилось в процессе языкового развития выбирать из многих возможностей различения слов наиболее выразительные. В древнеславянском языке было 12 гласных, которые различались по долготе и краткости, да еще с повышением или понижением тона (интонациями), и около 20 согласных; в древнерусском языке XI века было уже 9 гласных, которые различались только по долготе и краткости — без интонаций, да 25 согласных; в среднерусском языке XV века было 6 или 7 гласных (в разных говорах по-разному), которые уже не различались ни по долготе, ни по тону, но зато число согласных тогда возросло уже до 30; теперь, в литературном нашем языке, мы имеем всего 5 гласных и 37 согласных. Вот как было дело: увеличивалось число согласных, либо появлялись новые (как *ѣ* в XIII веке), либо в пару к уже существовавшим согласным, например твердым, приходили те же согласные, но с новым признаком — мягкие, потому и сейчас одной и той же буквой мы передаем на письме и мягкий [л'], и твердый [л]: *ляг* — и *лаг*; пишем мы так, как писали и в XIII веке, но произносим так, как произносили в XV веке, а понимаем только так, как и понимать должны в наше время. Вот вам и вся разница между значениями буквы, звука и фонемы.

Гласные же все время сокращались. Сначала в буквальном смысле — все долгие стали краткими, а затем и в смысле количества. Исчезли в древнеславянском носовые гласные (до сих пор в старых рукописях находим буквы, их обозначающие: «юс большой» *ѣ* и «юс малый» *ѣ*, который видоизменился в знакомую нам букву *я*), затем в древнерусском языке исчезли редуцированные гласные (но обозначающие их буквы мы знаем: *ѣ* и *ѣ*), потом в среднерусском языке утратились двугласные, которые обозначались на письме буквами *ь* (это и

есть «ять») и *ѡ*, и т. д. Например, слова *лез* и *лес* в древнерусском языке различались гласными *ь* и *е* да еще и согласными (*льсъ* и *лезъ* и даже *лезль*), в среднерусском языке они различались только гласными (произносились как *льс* и *лес*), а в наше время они ничем не различаются в произношении, стали омофонами (звучат одинаково), хотя по-прежнему отличаются от других, как будто похожих слов, вроде *лѣсс* (произносится *л'ос*), слов, которых в древнерусском языке еще и не было.

Если понятна разница между звуком, буквой и фонемой, о которых мы уже говорили, легко представить и смысл изменений, происходивших и тысячу лет назад, и совсем недавно. Изменялось не звучание слов, а значение звуков, разделявших слова друг от друга; значит, изменялись фонемы, а не звуки. Мы и теперь произносим «ять» в слове *лезъ*, но *е* в слове *лезу*, но все равно в этом корне для нас существует одна и та же фонема [e]. Произносим, как в среднерусский период, а понимаем, как надо понимать сейчас! Буквы же *ь* мы и вовсе недавно лишились, только в 1918 году, она сохранялась в азбуке почти триста лет после того, как фонема, ею обозначаемая, уже ушла из языка за ненадобностью.

Постепенно гласные уступили свою роль согласным: их и больше, они и важнее, и чаще имеют сильные позиции, чем гласные. Напишите что-нибудь на листе бумаги, используя только согласные буквы, и каждый свободно поймет смысл вашего письма; попробуйте то же с гласными, и никто ничего не поймет: *ya, ay*, да еще и *uey*

Зная историю фонем, легко разгадать любое, даже самое сложное слово, которое без того было бы непонятным.

В новгородской грамоте, написанной около 1192 года, встречается слово *волмина*: даритель жертвует монастырю *землю и огородъ и ловища рыбная и гоголиная и пожни 1-е рель противу села за Волховомъ, 2-е на Волхевци коле (заколок — место рыбной ловли), 3-е корь, 4-е лозь, 5-е волмина... на островъ и с нивами...* Слово *волмина* нигде больше не встречается, и долгое время в изданиях грамоты о нем помечали: «значение неизвестно». Потребовались годы исследований многих ученых, иногда вовсе и не помышлявших о нашем слове, одиноко стоящем в ворохе древних грамот, прежде чем более или менее выяснилось истинное его значение. Как и в других случаях,

к разгадке привело общее развитие научных знаний, в данном случае и фонетических.

Общий смысл грамоты и суффикс *-ина* могут указывать, что перед нами обозначение какого-то растения. Ср., с одной стороны, *волм-ина* и *мал-ина*, *ряб-ина*, а с другой — содержание грамоты, в которой говорится о дарах монастырю, в том числе о праве драть кору (*корь*) и резать лозу (*лозь*) в каком-то месте. Тогда это было важное сырье, приходилось следить и за деревьями!

Что корень в этом слове именно *волм*, подтверждают также названия некоторых речек, вроде *Волмы*, на границе Новгородской и Ленинградской областей — как раз там, где водилась неведомая *волмина*. А совсем недавно диалектологи сыскали и *волмяжник*: гриб волнушку, которая растет в сырых зарослях — *волмяга*... Вот и *волмяг* напоминает знакомые *липняг*, *сосняг* — наши литературные *липняк* и *сосняк*.

Вот тут-то и нужна историческая фонетика.

Перед нами сочетание гласного *о* с тремя согласными, из которых *л* следует сразу же за гласным, а два остальных «прикрывают» их с двух сторон корня. В русском языке много слов подобного типа; вот первые попавшиеся из словаря: *волк*, *волна*, *холм*, *молн(ия)*, *солн(це)* и др. Все они сходны и по составу звуков, и по своему происхождению. Чтобы это установить, достаточно сравнить слова родственных славянских языков: русское *волк* — болгарское *вълк*, сербское *вук*, чешское *vlk*. По таким примерам легко догадаться, к какому именно гласному восходят все славянские вариации: это древнеславянский очень краткий гласный *ъ*, который, как сказано, в слабых позициях исчез в XII веке, а в сильных изменился — у русских в *о* (*сон*, но *сна* на месте *сънъ* — *съна*), у чехов вовсе исчез, у сербов исчез, но не бесследно (сочетание *ъл* изменилось в *у*) и только у болгар сохранился в несколько преобразованном виде (иначе произносится, чем в древнеславянском языке). Приняв все это во внимание, мы подойдем к следующему этапу реконструкции. Когда-то искомый корень выглядел так: *вълм-*.

И тут возникают две возможности. Можно как будто сравнить наш корень с однотипными *волк* или *волна*, но в более дальних родственниках славянскому языку, в таких, как литовский, вместо *вълк* мы находим *vilkas*, вместо *вълна* — *vilna* с другим гласным не заднего, а

переднего ряда. А это значит, что в древнеславянском наш корень мог выглядеть не только как *вълм*, но и как *вълм*. Что же было на самом деле?

Дело в том, что согласный *в* перед гласным в начале слова весьма подозрителен: древний звук *в* губно-губного образования был похож на краткое *у*, потому что современное губно-зубное *в* в русском языке появилось не ранее XII века. В древнеславянском языке этот неопределенный призвук *у* служил как бы прикрытием для гласного, чтобы в соседстве с другими словами не возникло столкновения с гласными звуками. Такое *в* появлялось всегда, если слово начиналось на гласный *ъ* или *ы*, — вот почему в славянских языках и нет теперь слов, начинающихся на *ы* или *ъ*. Русское слово *волвь* родственно литовскому *úras* — ‘эхо’, а русское *выдра* — литовскому *údra* с тем же значением (древнегреческое слово того же корня — это известная вам *гидра* — водяной змей), а в обоих этих случаях слова начинаются с гласного краткого *у* или долгого *у*.

Еще раз оглядим наши формы и посмотрим, каким мог быть исходный корень: *вълм*-, *вълм*-, *ълм*-.

Первую из них мы оставили под сомнением: она древняя, но не исконная, ей предшествовала форма *ълм*-. Чтобы сопоставить ее с родственными языками, ее для удобства лучше записать латинскими буквами: так всегда делают, когда приступают к самой древней части реконструкции. Зная, что *ъ* по происхождению — краткое *у*, мы и можем записать исходный корень слова как *ulm*. Это слово мы свободно найдем в ряде словарей современных языков индоевропейского происхождения, в частности в немецком, где наше слово обозначает дерево ‘вяз’. То же в ныне мертвых языках, например в латинском *ulmus* также обозначало ‘вяз’.

Так, не обращая внимания на значение слова, последовательно разбирая различные изменения его фонетической формы, мы получили возможность отыскать его иноземных родственников, сначала самых близких, славянских, затем все более дальних — балтийских и наконец самых дальних: латинский, греческий, немецкий. А теперь легко соотнести *волмину* и с другими словами, известными в древнерусском языке. В одной русской рукописи, переписанной в XII веке с чешского оригинала, находим: «Положу в пустыне соснь, у л ъ м и букошь вкупе» (сосну,

вяз и бук вместе). В самом древнем списке русской летописи, составленном в XIII в., под 1231 годом, рассказывается о голоде в Новгороде, когда до того дело дошло, что «иные мох ели, уш (как-то цветы), сосну, кору липову и лист и л ь м, кто что замыслит». Слово *ильм* попадает здесь в таком соседстве, что никаких сомнений в его растительном происхождении не возникает. Да и объяснить его довольно просто, потому что русское диалектное *ильма*, украинское *илем*, чешское *jilem*, польское *ilm* одинаково обозначают все тот же вяз. Это славянское слово, но уже не славянского происхождения, оно вторично заимствовано из латинского *ulmus* через германское посредство. И *улом*, и *илем* — одинаково поздние заимствования, но исконная славянская форма также сохранилась в глухом новгородском углу XII века и дошла до нас в своем первоначальном виде. Такие случаи бывают: чужое кажется лучше, а и свое в запасе есть!

Что еще важно для понимания истории языка — это хронология. История слов вроде нашей *волмины* помогает установить последовательность звуковых изменений во времени и в пространстве (по говорам). Один этап изменения следует за другим, и каждое изменение определяется общим поступательным развитием языка вообще. Вот как в нашем случае: сначала сравниваем со славянскими языками, потом с балтийскими, наконец с прочими индоевропейскими, которые отошли от славянских много тысяч лет назад. Соответственно и история русского языка может быть опрокинута в прошлое неизмеримо далеко. Мы говорим о современном русском языке, который сложился в XVIII веке; мы говорим о среднерусском языке, который сложился в конце XIV века; мы говорим о древнерусском языке, который является общим для русского, украинского и белорусского языков предком и выделился из древнеславянского в конце X века или в начале XI века; мы говорим о балтославянском языке, который существовал полторы тысячи лет назад, и т. д. Каждый период развития языка по-своему интересен, имеет свои особенности, и каждый из них так или иначе сохранил частицу прошлого, след истории, что-то неуловимо свое, что всегда помогает ученому определить время и место рождения слова.

Рассказ двадцать первый,

В КОТОРОМ ГОВОРИТСЯ О НЕЗВУКОВЫХ ЧЕРЕДОВАНИЯХ ЗВУКОВ И НЕМНОГО О РАЙСКИХ КУЩАХ

Каждый язык изменяется по-своему. И после изменения всегда остаются следы прошлого. То в произношении слов, то в чередованиях звуков...

Вот, например: *друг* — *друзья* — *дружеский*... Почему в одном и том же корне — разные фонемы? И фонемы ли?

Такие чередования звуков называются историческими. Исторические — значит принадлежащие прошлому, мертвые. Мертвые же потому, что они не являются фонетическими. Да, но фонетические значит звуковые. Следовательно, перед нами — не звуковые чередования звуков? Странно...

Однако ничего странного в этом нет. Разве вам не попадались *плохие красные чернила*? А ведь с точки зрения древнерусского языка это сочетание слов весьма странно. *Красный* — это 'прекрасный'. *Чернила* могут быть только черными. Что же касается слова *плохой*, то оно имело массу значений, но по отношению к предмету всегда обозначало 'худой, ветхий'. *Плохие красные чернила* на русском языке пятисотлетней давности значило бы 'худые прекрасные чернила'. Ну как, не странно ли?

То же самое и с «незвуковыми» чередованиями звуков. Когда-то эти чередования были обычными чередованиями звуков в определенных позициях; вот как, например, в современном русском языке чередуются [o] под ударением, [a] перед ударением, [ъ] за ударением: [вóды] — [вада́] — [на́-вѣду]. Каждый раз, когда меняется позиция (под уда-

рением — перед ударением — за ударением), каждое [о] становится то [а], то [ъ].

Чередования мертвые, исторические также представляют собою чередования звуков, хотя давно уже не определяются позицией. В этом-то все дело: не определяются позицией — значит, не имеют фонетического значения.

А теперь примеры. Совсем немного примеров, чтобы уяснить себе суть дела.

Возьмем какой-нибудь корень и посмотрим, как он звучит в разных словах и формах слов.

Вот глагол *искать* и родственные слова: *поиск*, *иск*, *розыск* и т. д. Всюду легко выделяется корень *-иск-* (после твердых согласных пишется *-ыск-*).

Но вот тот же корень в другой «упаковке»: *ищу*, *ищущий*.

Или еще: *друг* — *по-друг-а*, но и *друж-еский*, *друж-ина*, *друж-ить*, а также *друзь-я*.

Это и есть исторические чередования:

ск чередуется с *щ*,

г чередуется с *ж* и с *з*.

И многие другие. Впрочем, не очень многие, но зато чрезвычайно частые. Вы сами можете подобрать множество чередований такого типа, например к корням *луг*, *слуг-а*, *таск-ать* и др.

И это очень важно: вы сами можете подобрать любой ряд слов, который включает какое-нибудь историческое чередование. Значит, вы ощущаете связь всех таких слов друг с другом. *Луг* и *луж-ок* — слова с одним корнем, хотя и представленным в разной форме.

В фонетических чередованиях изменение звуков связано с позицией: изменилась позиция — заменяется звук: [вѣдавѣс] 'водовоз' — [вадá] — [вѣды] — [на вѣду]. В исторических чередованиях позиция не имеет никакого значения. Сравните: *слуга* и *служба*. Все фонетические условия совпадают: и ударение на том же слогѣ, и окружающие гласные звуки. Позиции совпадают, а звуки все-таки различаются.

Позиции омертвели, они уже не важны для наших чередований, как когда-то, но сами чередования сохранились. Застыли, как мушка в куске янтаря. И теперь просвечивают на стыках морфем, там, где корень встречается с суффиксом или суффикс — с окончанием. Это швы веков, рубцы когда-то бурных фонетических изменений.

И раз уж они остались, язык использует их в своих целях. Язык использует все, он вынужден это делать, чтобы максимально просто и максимально четко воплотиться в речи. Поэтому для него в речи нет ничего лишнего, лишнее просто-напросто отмирает, исчезает.

Сравните ряд слов, начинающихся с *иск-*. Все формы с меткой *-ск-* по своему происхождению являются именами. И пусть вас не удивляет инфинитив *искать*, который тоже имеет метку *-ск-*, — инфинитив действительно является старой формой имени существительного. Все формы с меткой *-щ-* — глагольные. И прочие исторические чередования могут указывать на это древнее, очень древнее различие имени и глагола.

Другие же чередования указывают на различные формы имени или глагола, например: *хоч-у*, но *хот-ят*. Исторические чередования могут различать разные формы одного и того же слова, а следовательно, они имеют морфологическое значение. Да, именно так. Дополнительно к суффиксам или окончаниям они указывают на форму слова:

снег — за-снеж-енный и заснежиться,

голос — о-глаш-енный и огласить.

Наши чередования, как звонок на пишущей машинке: звенит, значит, конец строки, начинай новую. Наткнулся на историческое чередование — значит, конец морфемы, начинается новая. Очень удобно для иностранца, изучающего русский язык. Вас-то этим не удивишь, вы с детства постигаете смысл таких чередований. Только маленькие дети часто путают их, предпочитают не пользоваться такими морфологическими знаками. Им удобнее сказать *Я искаю* вместо *Я ищу*. И они говорят. Но с пятилетнего возраста положение решительно меняется. Ребенок начинает осваивать морфологию родного языка, а следовательно, изучает и исторические чередования.

А вот и еще одно доказательство того, что исторические чередования — это чередования морфологические. Когда в языке появляется новый корень, свои морфологические изменения он подчиняет законам исторического чередования. Понадобилось употребить форму причастия с корнем *-флаг-* — и писатель пишет: *зафлаженный*. В самом деле, *снег* — *заснеженный*, поэтому и *флаг* — *зафлаженный*.

Но ведь раньше, когда чередование *з* — *ж* было еще простым звуковым чередованием (а было это полторы ты-

сячи лет назад!), слова *флаг* в русском языке еще не было.

В других случаях от старых корней образуют новые, никогда не употреблявшиеся формы причастий — и опять-таки авторы не забывают об исторических чередованиях. *Сильно обволоченные люди* («Вокруг света», 1970, № 10, стр. 27): *голое* — *оглащенный*, поэтому и *волос* — *обволоченный*. Причастная форма обязательно должна заменить *с* на *ш*, иначе мы и не поймем, что перед нами причастие. *Одно дело сделано. Адвокат обезопасиен* («Простор», 1973, № 4, стр. 104) — поскольку *обезопасить*.

Зная исторические чередования, мы легко можем определить степень родства тех слов, которые в наши дни разошлись довольно далеко и редко осознаются как родственные.

Вот, например, что такое *райские кущи*? Вы догадываетесь, что сочетание связано с религиозными воззрениями наших предков, что это «печто божественное» — но и только. Понятно еще, что кущи находятся в раю, где всегда хорошо: светло, тихо, чисто прибрано.

А что такое сами *кущи*? Спрашиваешь — и редко кто ответит правильно. Самый частый ответ: *кущи*? — *райские кущи*. Но это вовсе не ответ. Он косвенно указывает лишь на то, что в современном литературном языке все сочетание этих слов воспринимается целиком, совместно, представляет идиоматический оборот с одним общим значением. Первое слово сочетания еще можно употребить с другими словами (*райская жизнь*, *райская птица*), но второе-то как будто припаяно к слову *райские*: *райские кущи* — и все тут!

Однако мы хотим доискаться исконного значения слова, понять первоначальный смысл оборота. В этом случае нам и поможет отложившееся в нем историческое чередование.

И в самом деле, может быть, *райские кущи* — это *райские кусты*? Чередование *-ст-* — *-щ-* включается в обширное семейство чередующихся корней: *льст-ить*, *прелест-ный* — *льщ-у*, *по-льщ-енный*, также *гость*, *гост-ить* — *у-гощ-у* и еще *месть*, *мст-ить* — *ото-мщ-енный*. Да и *кущи*, казалось бы, имеют родственника в современном русском языке: *закущенное пространство* — ‘поросшее кустами место’. Вот и в новейших книгах слово *кущи* встречается в значении ‘кусты’. Раскроем последнее

издание переводов басен Эзопа. На стр. 51 находим такой текст: «Когда животные еще говорили по-человечьи, один бедняк, которому нечего было есть, ловил кузнечиков, которых называют цикадами, сушил их и продавал по дешевке. Но один из кузнечиков взмолился: «Не казни меня напрасно, ведь я не делаю вреда ни колосьям, ни веткам, ни сучьям, ни листьям...» Человека тронула такая речь, и он отпустил его в родные кущи». Хоть это и не райские, но все-таки кусты. Переводчик не знает истинного значения слова, забыл. А может быть, хотел намеренно архаизировать свой перевод — и попался. Не то сказал.

Ссылка же на историческое чередование в данном случае ничего не значит. Наиболее догадливые переведут наше сочетание как *райские куски*. *Куски*, а не *кусты*! Вспомните: *по-иск-ать* — *ищ-у*, *таск-ать* — *тащ-и*. Поэтому и *райские кущи* как *райские куски* формально имеют право на существование. Значение, правда, несколько меняется... Однако и к *кускам* *райские кущи* не имеют никакого отношения. Чтобы понять это, нужно выйти за пределы русского языка и сравнить произношение этого слова с его звучанием в других славянских языках.

Дело в том, что русскому *ч* в церковнославянском обычно соответствует *щ*. Сравните такие слова: *я хочу* — *аз хощу*, *ночной вран* — *ночной ворон*. Таким образом, там, где в русском языке чередование *т — ч* (*хотеть — хочу*), в старославянском всегда *т — щ* (*хотети — хощу*). И следовательно, *райские кущи* нужно перевести как 'райские кучи'. Это правильный перевод. Если включить слово в общий ряд церковнославянских чередований, получится соотношение: *хот(ети) — хощ(у)*, *кут — кущ(а)*.

Слово *кут* очень древнее, оно до сих пор сохранилось в русских говорах в исконном своем значении 'угол'. И в литературном языке много производных от этого корня. *Закуток* — огороженное в углу пространство, *кутёнок* — слепой щенок, которого держат пока в доме, и т. д. Таким образом, *кущи* — это *кучи*, т. е. помещения, состоящие из углов, имеющие углы. Другими словами, это дом, а точнее, не дом — шатер, шалаш, хижина. В болгарском, в сербском, в словенском языках слово с этим корнем до сих пор обозначает 'дом'. Русский писатель Глеб Успенский и переводил вроническом смысле торжественное *райские кущи* на доступный язык: *райские домики*...

Единственное желание автора — быть понятным. Этого легче добиться, словами и фразами рассказывая, например, о минералах или о птицах. Но где подыскать слова, способные рассказать о словах, о фразах... о фонемах, наконец? И если вы все-таки хотя бы отчасти осознали небывающую и по масштабам, и по числу участников, и по конечным результатам операцию «развитие языка», автор будет считать, что не зря писал эту книжку.

Все стороны языка в неустанном взаимном совершенствовании, в работе, в развитии — язык динамичен. Но никто, кроме лингвиста, не замечает этого, не видит постоянного обновления языка. Более того, со стороны язык кажется стабильным и законченным, всегда готовым к действию. Теперь вы понимаете, в чем здесь дело и какое впечатление обманчиво. Верно и то, и другое, и каждый раз тонкие соотношения между языком и речью уравнивают противоположные тенденции: развития и неподвижности. Чтобы быть понятным всем, язык должен быть устойчивым. Но язык-то воплощен в миллионах речевых контекстов, которые прихотливо видоизменяют его в зависимости от различных условий. Чтобы существовать, язык должен изменяться в речи. И это уже не просто динамика, это — диалектика.

Все, что мы видим, слышим, чувствуем, все, что мы знаем, — все это отражено в словах, их сочетаниях, зашифровано в грамматических формах и категориях, осмыслено в тонких оттенках речи. В языке сосредоточен жизненный опыт прошлых поколений, и этот опыт постепенно обогащается, изменяя язык. Язык — можно понять только в действии. Только в поиске новой мысли, в рассуждении, в столкновении идей. Потому что язык — это достояние каждого из нас, всех, говорящих на этом языке. Для меня одного или для тебя одного языка нет.

Теперь мы знаем, что в своей истории русский язык был открыт навстречу всем новым, всем неизбежным, всем полезным и художественно важным изменениям. Он не

чняясь впитывал в себя многие элементы других языков, если это развивало его точность или углубляло содержательность. Мужественный в бою и общительный в беседе, душевный и деятельный, русский человек, знакомясь с новыми землями и народами, своим трудом включаясь в развитие мировой цивилизации, постепенно и сам, незаметно для себя, как бы вдруг приобрел духовные ценности большого значения и высокой художественной силы. На своем родном языке народ создал замечательные произведения устного творчества, а затем и великую литературу. В средние века простой, живой, разговорный, язык как бы материализовался в классических литературных текстах, обрел плоть и кровь. Многие люди на Земле изучают русский язык, чтобы читать эту литературу.

За короткое время, как бы завершая многовековой, очень сложный путь развития, наш язык сформировал законченную литературную норму; ученые создали академические грамматики и словари, разработали принципы правильного произношения и написания, обязательные для всех; они написали учебники, по которым вы начинаете изучение родного языка в школе.

Возросло не только общекультурное значение русского языка, увеличился и его политический вес. После Великого Октября язык русского народа стал языком взаимного общения и сотрудничества всех наций и народностей Советского государства. Благодаря многим особенностям своего исторического развития русский язык оказался способным достойно выполнять обязанности средства межнационального общения более чем ста наций и народностей, образующих новую историческую общность — советский народ, вошел в число общепризнанных мировых языков.

Но сила русского языка — как ясно из его истории — заключается в непереносимой потребности в дальнейшем совершенствовании: язык отражает жизнь и, следовательно, изменяется, поскольку постоянно изменяются ритм, содержание, сущность жизни. Отсюда и высокая ответственность каждого из нас за сохранение родного языка.

Развитие языка продолжается все время, неустанно, ежечасно. Устаиваются слова, «затухают» фонемы, меняются значения слов. «Усыхают» окончания, неожиданным рывком создаются новые части речи. Шлифуется предложение или искрометно создается неизвестное прежде сочетание слов... Каждый день, каждым из нас.

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ЧТЕНИЯ

По истории русского языка легких по изложению книг мало — очень трудно писать о том, что давно прошло и теперь не всегда понятно читателю; можно прочесть книгу:

Удзунов И. С. О языке Древней Руси. М., 1972.

Гораздо чаще писали об истории слов — русских и заимствованных:

Казанский Б. В мире слов. Л., 1968;

Котков С. П. Сказки о русском слове. М., 1967;

Кукинова В. Т. Исчезнувшие слова. М., 1962;

Мокиенко В. М. В глубь поговорки. М., 1975;

Откупщиков Ю. В. К истокам слова. М., 1973;

Сергеев В. Н. Новые значения старых слов. М., 1979;

Шанский Н. М. В мире слов. М., 1978;

Этерлей Е. Н., Кузнецова О. Д. Неизвестное в известном. Л., 1979.

Много интересного можно узнать, читая книги по общему языкознанию, в которых упоминаются и изменения русского языка:

Леонтьев А. А. Что такое язык. М., 1976;

Сахарный Л. В. Как устроен наш язык. М., 1978;

Успенский Л. В. Слово о словах (любое издание этой книги);

Фолсом Ф. Книга о языке. М., 1974.

О русском языке в современном мире можно узнать из книги:
Костомаров В. Г. Русский язык среди других языков мира. М., 1975.

Часто статьи по истории русского языка и письма печатаются в научно-популярных журналах, например, в журнале «Русская речь», который мы советуем вам читать регулярно. Там опубликованы такие статьи по теме нашей книжки:

Вялкина Л. В. Хитрец и художник. — 1971, № 1;

Вялкина Л. В. Русские названия недели и ее дней. — 1972, № 1;

Добродомов И. Г. Почему убегают гласные? — 1968, № 5;

Дундайте А. И. Древнерусские суффиксы. — 1975, № 4;

Кедайте Е. И. Вижу брата, он купил стол. — 1975, № 5;

Мазанько И. Ф. Десный и правый. — 1974, № 2;

Морозова С. Е. «Кабы я была царица...». — 1973, № 4;

Одинцов Г. Ф. О розовых, зеленых и голубых лошадях. — 1975; № 4;

Осинов Б. П. Особенности старинного русского письма. — 1979, № 2;

Романова Г. Я. Старинные меры длины. — 1972, № 3—6;

Савихлы Н. Е. «Бьет челом холоп твой...». — 1972, № 4;

Сапунов Б. В. О почитании книжном. — 1974, № 3;

Филин Ф. П. У истоков русского языка. — 1968, № 2.

ОГЛАВЛЕНИЕ

О чем эта книжка	3
Рассказ первый о многих предметах, явлениях и лицах, начинающая с ленивых школяров и кончая сонными монахами	7
Рассказ второй о диве дивном, о животах и немножко о жизни	16
Рассказ третий о синем море, сизом вороне и черной кручине, а также о самом красивом цвете	27
Рассказ четвертый о братьях-месяцах в те годы, когда время еще не было часом, а лето—временем	40
Рассказ пятый о том, как представлял себе время древний русич	49
Рассказ шестой о версте, которая приводит нас в неведомые села	55
Рассказ седьмой, связанный с хлопотами и злобой, а также с вопросом о том, откуда появляются «идиотизмы»	68
Рассказ восьмой об Иване Антоновиче Кувшинное Рыло и его предках	78
Рассказ девятый о том, как истончаются слова и толстеют словари, а также о супругах и благовониях	88
Рассказ десятый о том, сколько русских слов и какие из них русские	97
Рассказ одиннадцатый о том, откуда берутся слова и зачем нам нужны все новые	104
Рассказ двенадцатый о том, как наши предки думу думали	112
Рассказ тринадцатый о том, как важно думать по порядку, и о порядке слов	120
Рассказ четырнадцатый о вассальной зависимости падежей и об их падении	132
Рассказ пятнадцатый о словах <i>сей</i> и <i>оний</i> и о том, чем отличается <i>тот Барбос</i> от <i>этого</i>	140
Рассказ шестнадцатый еще о временах, но совсем других	148
Рассказ семнадцатый об имени, причастном к действию	155
Рассказ восемнадцатый о числе и числах, а также о числительных	162
Рассказ девятнадцатый о звуках, которые различают слова	169
Рассказ двадцатый о том, как и зачем изменяются звуки	175
Рассказ двадцать первый, в котором говорится о незвуковых чередованиях звуков и немного о райских кущах	183
Эпилог	188
Литература для дальнейшего чтения	191